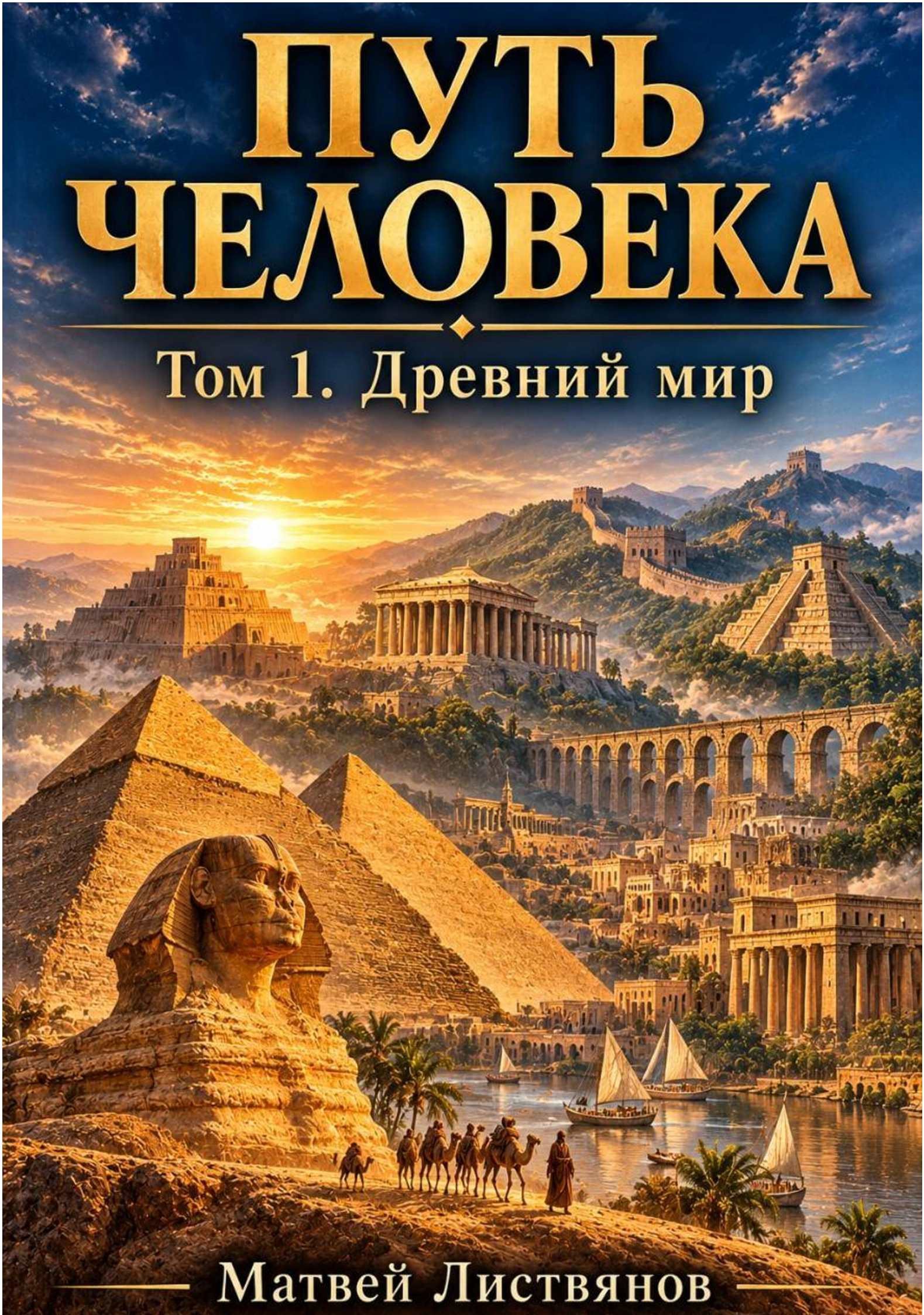
ПУТЬ ЧЕЛОВЕКА

Том 1. Древний мир



Матвей Листвянов

Матвей Листвянов

Путь человека. Том 1. Древний мир

«Автор»
2026

Листвянов М.

Путь человека. Том 1. Древний мир / М. Листвянов — «Автор», 2026

Тридцать три главы — тридцать три судьбы из девяти древних цивилизаций:наёмный крестьянин, строивший пирамиду Хеопса, писец при дворе фараона,весталка в Риме, гладиатор Колизея, раб-гребец на галере, жрец-астроном майя —и ещё десятки голосов, через которые рождаются первые государства, перваяписьменность, первые религии и первый подневольный труд в промышленныхмасштабах. Каждая глава называется именем человека, а не событием: историяантичности и древнего мира здесь — это не даты правителей, а частные жизни, изкоторых та эпоха и состояла. Эпическое, многоголосое начало цикла «Путьчеловека».

© Листвянов М., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Содержание 6
Строитель пирамиды Хеопса 7
Писец при дворе фараона 12
Жрец культа Амона-Ра в Карнаке 17
Бальзамировщик 22
Ткачиха льняных полотен 27
Ученик школы писцов в Уре 32
Жрица храма Иштар 37
Строитель зиккурата 42
Конец ознакомительного фрагмента. 47

Матвей Листвянов
Путь человека. Том 1. Древний мир

ПУТЬ ЧЕЛОВЕКА
Том 1. Древний мир

Матвей Листвянов

Содержание

Строитель пирамиды Хеопса
Писец при дворе фараона
Жрец культа Амона-Ра в Карнаке
Бальзамировщик
Ткачиха льняных полотен
Ученик школы писцов в Уре
Жрица храма Иштар
Строитель зиккурата
Воин ассирийской армии при осаде города
Составитель свода законов при дворе Хаммурапи
Рабочий на строительстве Великой стены
Мастер терракотовой армии
Шёлковый торговец на заре Шёлкового пути
Придворный летописец династии Хань
Ремесленник цивилизации долины Инда
Буддийский монах при дворе императора Ашоки
Спартанский гоплит при Фермопилах
Афинский философ в Академии Платона
Атлет на первых Олимпийских играх
Раб на серебряных рудниках Лавриона
Гребец на триере в Саламинском сражении
Гонец царской дороги
Воин гвардии «Бессмертных»
Легионер на валу Адриана в Британии
Гладиатор на арене Колизея
Раб-гребец на галере
Сенатор в день заговора против Цезаря
Строитель римского акведука
Весталка, хранящая священный огонь
Погонщик боевого слона в армии Ганнибала
Финикийский мореход
Жрец-астроном майя
Строитель пирамиды в Тикале

Строитель пирамиды Хеопса

Нахт родился в деревне на восточном берегу Нила, в номе, что лежал в половине дня пути вверх по реке от Мемфиса, в тот год, когда разлив выдался особенно щедрым и ил лёг на поля густым чёрным слоем в ладонь толщиной. Отец его числился на земле храмового хозяйства — не владел ею, но обрабатывал из поколения в поколение, отдавая часть урожая писцам, которые приходили считать зерно в закрома после каждой жатвы. Мать принимала роды сама, с помощью соседки, повитухи деревни, и первые дни жизни Нахта прошли так же, как у тысяч детей его сословия: в плетёной колыбели у очага, под амулетом от лихорадки на шее, под взглядом богини-покровительницы дома, которую изображали женщиной с телом бегемота.

Статус семьи был самым обычным для своего времени — не рабы, но и не свободные в том смысле, в каком это слово понимают позже: земля принадлежала храму и через него — фараону, урожай делился по заведённому порядку, и мужчины деревни знали, что часть года им придётся отдать не своему полю. Так было заведено с тех пор, как помнили деды дедов, и никто в деревне не видел в этом несправедливости — только погоду, которую нужно было пережить, как разлив или засуху.

До пяти лет Нахт, как и все дети в деревне, бегал голым по пыльной улице между глинобитными домами, ел то, что перепадало от общего стола — ячменную кашу, разведённую молоком, немного фиников, иногда рыбу, пойманную в заводи. Хлеб был основой рациона всей семьи: грубый, из эммера и ячменя, с песком, намолотым вместе с зерном на каменных жерновах, — от этого песка у взрослых к старости стирались зубы почти до дёсен, и Нахт видел это на лице своего деда задолго до того, как сам узнал, что значит стареть.

С шести-семи лет мальчика начали приставлять к работе по силам: гонять птиц с посевов трещоткой, носить воду полевым работникам, пасти немногочисленный скот семьи. Девочек в этом возрасте учили прясть лён и молоть зерно; мальчиков — всему, что связано с полем и скотом. Школы в том смысле, в каком её знали писцы при дворе, для детей земледельцев не существовало: грамоте не учили, да и незачем было — счёт урожая вели писцы фараона, а не сам крестьянин. Единственной «школой» было поле отца, где сын с восьми лет уже умел отличить созревший эммер от ещё зелёного, знал, когда открывать и закрывать шлюзы ирригационных канав, умел работать мотыгой наравне со взрослыми к двенадцати годам.

Детство кончалось рано и без торжественных границ: однажды подросток понимал, что его уже не отсылают играть, а зовут работать весь день, наравне со старшими братьями. Для Нахта этот день настал около тринадцати лет, в год, когда старший брат впервые ушёл в трудовую повинность — и вернулся через три месяца, рассказывая о реке барж, о каменных глыбах высотой с дом и о городе из тростниковых бараков у подножия холма, где строили гробницу для живого бога.

Семья Нахта была многодетной, как почти все крестьянские семьи его времени: мать родила девятерых, из которых до взрослых лет дожили шестеро — остальные умерли в младенчестве от болезней, которые в деревне не умели даже толком назвать, не то что вылечить. Старшие братья и сёстры нянчили младших, пока родители работали в поле, и Нахт, третий по старшинству среди выживших, уже к десяти годам нянчил младшую сестру так же привычно, как позже — собственных детей. Игрушками служили фигурки из обожжённой глины и тряпичные куклы, которые матери лепили и шили сами; единственным развлечением помимо труда были редкие деревенские праздники в честь местного бога-покровителя нома, когда резали лишнего козлёнка и все наедались мясом досыта один раз в несколько месяцев.

То, что Нахт унаследовал, не было ремеслом в строгом смысле — скорее участью свободного земледельца, обязанного время от времени становиться государственным строителем. Раз в несколько лет, в сезон ахет, когда Нил разливался и заливал поля, делая невозможной

обычную работу на земле, по деревням ходили писцы и староста нома с указанием: столько-то мужчин такого-то возраста должны явиться к такому-то сроку к реке, откуда их на барже повезут вниз, к Гизе.

Эта повинность — не рабство, а именно трудовая обязанность свободного подданного — была способом занять руки, которые всё равно простаивали во время паводка, и прокормить их за счёт государственных житниц, пока вода не спадёт и не настанет время сева. Нахту было пятнадцать, когда его имя впервые назвали на деревенской сходке. Отец не возражал — отказ означал бы беду для всей семьи, да и чести в отказе не было: строить дом для фараона, который после смерти станет богом и будет оберегать саму Маат — вселенский порядок, — считалось делом, угодным богам, а не унизительной барщиной.

Отплытие баржи от деревенской пристани сопровождалось обычными проводами: женщины провожали мужчин к реке с узелками еды на первые дни пути, старики давали наставления, а деревенский жрец местного храма произносил краткую молитву о благополучном возвращении — путь, который, в отличие от военного похода, не сулил смерти в обычном понимании, но которого всё же немного страшились даже бывалые мужчины, слышавшие рассказы о придавивших кого-то блоках или о лихорадках, косивших рабочие бараки в разгар лета. Нахта и два десятка мужчин из соседних деревень погрузили на баржу вместе с мешками зерна и погнали вниз по течению. Через несколько дней он впервые увидел плато Гизы — и остолбенел, как и все новички до него: над пальмами и песком поднималась громада, которую позже будут звать пирамидой Хеопса, в четыре раза выше любого здания, какое он видел в жизни, облицованная белым известняком, который на солнце слепил глаза.

Посвящением в это дело стало не обучение ремеслу резчика или каменщика — таких мастеров среди рядовых рабочих были единицы, — а распределение по бригадам. Рабочих делили на крупные отряды, а внутри них — на более мелкие группы по десять-двадцать человек, у каждой из которых было собственное гордое имя вроде «Друзья Хуфу» или «Пьяницы Менкаура» — названия, которые рабочие сами давали своим бригадам и которыми потом хвастались друг перед другом. Старший бригады, обычно из местных жителей, уже бывавших здесь раньше, показал новичкам, как вязать канатную петлю вокруг каменного блока, как подкладывать деревянные полозья и смазывать их илом или жиром, чтобы блок скользил по насыпи легче.

Жизнь в рабочем посёлке у подножия плато была устроена строже, чем в деревне, но и щедрее, чем рассказывали скептики в последующие века, вообразившие себе орды измученных рабов под бичом надсмотрщиков. Археологические раскопки посёлка строителей — тростниковых и глинобитных бараков, пекарен и пивоварен у южного склона плато — покажут спустя тысячи лет, что рабочих кормили досыта: хлебом из пшеницы и ячменя, пивом, которое варили здесь же в огромных количествах, рыбой из Нила, а по праздникам — и говядиной, что для простого земледельца было редкой роскошью. Кости крупного скота, найденные в мусорных кучах посёлка, свидетельствуют: на одной только этой стройке ежедневно забивали животных в количестве, которого хватило бы прокормить не одну тысячу работников мясом, какого иной крестьянин не видел в деревне месяцами.

День начинался до рассвета. Бригаду Нахта ставили то на расчистку каменоломни неподалёку, где вырубали местный известняк, то на буксировку салазок с блоками по смоченной водой дороге из утрамбованной глины — скольжение по мокрому песку в разы снижало трение, и именно так, как позже подтвердят эксперименты и найденная в одной из гробниц фреска, тянули многотонные глыбы десятки людей разом, в такт выкрикивая счёт. Другие группы трудились на насыпях — пологих земляных и кирпичных пандусах, по которым блоки поднимали на нужную высоту; третьи — на самой кладке, подгоняя камень к камню под присмотром мастеров.

Инструменты были медными: тёсла, пилы, свёрла с абразивом из кварцевого песка — медь мягче камня, но в сочетании с песком она резала даже твёрдый гранит, который везли баржами с юга, от первого порога у Асуана, за сотни километров. Облицовочные плиты белого известняка доставляли с восточного берега, из каменоломен Туры, тоже по воде — большую часть пути тяжёлый груз в Египте перемещали именно реки и каналы, а не люди на своих плечах. Взрослый рацион Нахта в посёлке стал обильнее, чем дома: хлеб, пиво, лук, чеснок, вяленая рыба, изредка мясо — этого хватало, чтобы выдерживать физический труд, но тело платило цену: к тридцати годам у многих рабочих плато находили следы сросшихся переломов, грыжи, искривления позвоночника от многолетней переноски тяжестей.

По свидетельству позднейшего греческого историка Геродота, расспрашивавшего египетских жрецов много веков спустя, вся постройка главной пирамиды заняла около двадцати лет непрерывного труда — срок, за который успевало смениться не одно поколение призываемых по трудовой повинности крестьян, так что иной старик, заставший закладку нижних ярусов юношей, доживал лишь до середины стройки, а завершение видели уже его повзрослевшие сыновья. Отдельные блоки облицовки, которые Нахт и его товарищи поднимали на верхние ярусы, весили порой больше, чем две запряжённые телеги, и перемещать их по насыпи приходилось силами полусотни человек разом, согласованно налегающих на канаты под команду старшего бригады, отсчитывающего ритм рывков нараспев, как гребцы на судне.

Бригада Нахта работала посменно с бригадами из других номов — всего на плато в разгар строительства собирались, по счёту писцов, несколько тысяч человек постоянного костяка рабочих и в несколько раз больше во время сезонного наплыва крестьян на трудовую повинность. Распорядок каждого участка вели особые чиновники — «смотрители работ», которые отчитывались перед визирем, а тот — перед самим фараоном; рядовой землепашец вроде Нахта никогда не видел царя вживую, но знал, что где-то наверху этой лестницы стоит его имя, ради которого поднимается вся гора камня. По вечерам, когда солнце садилось за западную пустыню — сторону мёртвых, — бригады собирались у костров возле бараков, делили хлеб и пиво, пели песни о реке и о доме, и старики из числа ветеранов стройки рассказывали байки о прежних фараонах и о том, как строили пирамиду отца нынешнего царя — ступенчатую, не такую ровную и высокую, как эта.

Лекари при посёлке — не придворные врачеватели, а опытные люди, которых держали специально для нужд стройки, — вправляли вывихи, накладывали шины из тростника на сломанные кости, промывали раны пивом и мёдом, обладавшим, как подмечали ещё тогда, свойством останавливать нагноение. Найденные века спустя кладбища рабочих покажут множество случаев успешно сросшихся переломов и даже следов хирургических вмешательств — ампутаций и трепанаций черепа, после которых человек прожил ещё годы: свидетельство того, что о работниках заботились не меньше, чем того требовала простая хозяйственная выгода содержать здоровые рабочие руки.

Случай, которым Нахт мерил потом всю свою жизнь, пришёлся на вторую зиму его службы, когда бригаду послали на участок, где заканчивали облицовку верхней трети пирамиды. Насыпь в этом месте была крутой и узкой, рассчитанной на то, чтобы поднять блок повыше, туда, где ширина кладки уже сужалась. Канат, которым была обвязана глыба облицовочного камня — не огромная, в человеческий рост, но достаточно тяжёлая, чтобы придавить насмерть, — перетёрся о край деревянных полозьев в тот миг, когда бригада тянула её на самом крутом участке подъёма.

Блок пошёл назад. Люди, тянувшие спереди, закричали и бросились в стороны, но один из молодых рабочих, стоявший сбоку и подпиравший камень рычагом, не успел отскочить — рычаг вырвало у него из рук, и камень накрыл бы его ноги, если бы Нахт, оказавшийся ближе всех, не толкнул его в сторону, сам отпрыгнув следом на долю мгновения позже. Глыба соскользнула с насыпи и с грохотом остановилась у подножия, расколов угол о другой, уже

уложенный блок, — порчу материала потом вычитали из пайка всей бригады на неделю, но человеческая жизнь была цела.

Старший бригады, разбиравший происшествие, не наказал Нахта — наоборот, объявил о случившемся писцу, который вёл учёт работ и происшествий на участке, и имя Нахта в числе немногих рабочих попало в список, зачитанный перед всей бригадой на вечерней раздаче пива: редкая честь для простого крестьянина, чьё имя иначе никогда не прозвучало бы отдельно от общего счёта голов в отряде. Молодого рабочего, которого он спас, звали Хеви; тот запомнил этот день на всю жизнь и годы спустя, когда оба уже вернулись в свои деревни, присылал через знакомых торговцев весточки о здоровье своей семьи — связь, какая редко завязывалась между людьми из разных номов, но пережила десятилетия.

Между турами трудовой повинности — обычно раз в несколько лет, по нескольку месяцев за раз, в остальное время Нахт был обычным земледельцем — он успел жениться, как и большинство его сверстников, около восемнадцати-двадцати лет, на девушке из соседней деревни, которую сосватали через родителей. Она звалась Хенут и рожала детей в первые годы брака, как было заведено: шестеро детей появились на свет за двадцать с небольшим лет брака, из которых, как и в большинстве крестьянских семей того времени, до взрослых лет дожили не все — двое умерли в младенчестве от лихорадок, которые унесли бы их при любом строе и в любую эпоху тогдашнего Египта.

Нахт не был на стройке постоянно — повинность призывала его снова и снова, но между турами он работал на поле отца, а потом и своём собственном наделе, воспитывал сыновей так же, как воспитывали его: рано приставляя к труду, рано вводя в мужской круг деревни. Один из сыновей, старший, тоже впоследствии отбывал повинность на тех же строительных работах — уже не на пирамиде Хеопса, давно завершённой к тому времени, а на меньших гробницах вельмож и храмовых постройках, которые не прекращали возводить в номах по всей стране.

Хенут умерла раньше мужа, на сороковом году жизни, от осложнений после очередных родов — обычная участь женщины её сословия и эпохи, для которой медицина тех времён, сколь бы искусны ни были отдельные врачеватели при дворе, располагала немногим против кровотечения или родильной горячки. Нахт похоронил её по обряду, какой был доступен семье земледельца: тело обернули тканью, положили в неглубокую могилу в пустынном песке за пределами обрабатываемых земель, вместе с немногими личными вещами и глиняными сосудами для пищи в загробной жизни — не каменный саркофаг вельможи, но и не брошенное без обряда тело.

Последние годы жизни Нахт провёл на земле, которую к тому времени обрабатывал уже его сын, формально оставаясь главой дома, но постепенно передавая дела младшему поколению — так же, как когда-то его собственный отец. Зубы, как у большинства людей его сословия, стёрлись от хлеба с песком почти до основания ещё к пятидесяти годам, причиняя постоянную боль при еде; спина, покалеченная годами переноски тяжестей на стройке, ныла в сырую погоду. Среднюю продолжительность жизни для крестьянина его времени позднейшие исследования скелетов оценят в районе тридцати пяти — сорока лет, однако немалая часть людей, переживших опасное для здоровья детство, доживала до преклонных шестидесяти с небольшим, и Нахт оказался в их числе.

Он умер зимой, в сезон перет, когда поля снова зеленели после спада воды, тихо, во сне, в собственном доме, окружённый детьми и уже подрастающими внуками. Его похоронили рядом с Хенут, на том же семейном участке в пустыне, и сын вложил в могилу амулет-скарабея — недорогой, вылепленный деревенским мастером, а не придворным резчиком по полудрагоценному камню, но исполнявший ту же роль: обеспечить умершему благополучное перерождение и защиту на пути через загробный мир.

Нахт, рассказывая в старости внукам о своём участии в стройке, особо гордился тем, что видел собственными глазами завершающий этап работ — снятие строительных лесов и

временных насыпей, обнажавшее готовую облицовку, которая, пока не потускнела от песчаных бурь последующих веков, сияла на солнце настолько ярко, что, по словам очевидцев, на неё было больно смотреть в полдень без тени. Пирамида, которую он помогал строить мальчишкой и молодым мужчиной, простояла после его смерти уже не одно столетие и простоит ещё тысячи лет, пережив имя Нахта, имена его детей и внуков, самого фараона Хуфу и десятки династий после него — молчаливое свидетельство труда, который его участники считали не рабской повинностью, а службой, через которую крестьянин без имени и титула прикасался к вечности, строя дом для бога на земле.

Писец при дворе фараона

Себекхотеп родился в Мемфисе, в доме отца, который сам был мелким писцом при зерновом амбаре одного из городских храмов — не вельможа, не жрец высокого ранга, но человек, чья должность освобождала семью от самого тяжёлого, что знало египетское общество: от обязательной трудовой повинности на полях и стройках, от изнурительной жизни, целиком зависящей от разлива и урожая. Мать происходила из такой же писцовской семьи среднего достатка; дом стоял на невысоком кирпичном цоколе, с внутренним двориком и несколькими комнатами — заметно просторнее, чем жилище деревенского земледельца.

Рождение мальчика в такой семье сопровождалось не только обычными для Египта оберегами и обращением к богине-покровительнице рождений, но и ранним разговором отца с женой о будущем сына: грамотность передавалась по наследству почти так же надёжно, как ремесло, и отец уже в первый год жизни Себекхотепа знал, что готовит его к той же стезе — стезе человека, который считает, записывает и тем самым управляет.

Мемфис, где родился Себекхотеп, оставался в ту пору одним из крупнейших городов страны и хранителем древнейших религиозных традиций Египта, связанных с культом богатворца Птаха, покровителя ремесленников, и именно эта тесная связь города с идеей искусного труда, по мнению самого Себекхотепа в зрелые годы, как нельзя лучше подходила родине будущих писцов — людей, чьё ремесло, в отличие от физического труда гончара или кузнеца, заключалось в не менее искусном, хотя и невидимом глазу труде ума и памяти. Рацион ребёнка из писцовской семьи был богаче, чем у крестьянского: помимо обычного хлеба и пива — финики, мёд, рыба чаще, чем изредка, молоко коз и коров почти ежедневно. Себекхотеп, как и большинство египетских детей, бегал без одежды до пяти-шести лет, с выбритой головой и единственной прядью волос на правом виске — знаком детского возраста, который состригали по достижении зрелости. Игры были самыми обычными для любого египетского ребёнка: борьба, бег наперегонки, игра в кости и настольную игру сенет, деревянные фигурки зверей на верёвочках.

Но уже к пяти годам отец начал сажать его рядом с собой, когда вечерами проверял счета амбара, — задолго до начала настоящего обучения, просто чтобы ребёнок с раннего возраста слышал, как звучит разговор о мерах зерна, о долях и остатках, привыкал к виду знаков на черепках и обрезках папируса. К семи годам Себекхотепа отвели в школу писцов при храме Птаха — одно из тех заведений, что современники называли «домом жизни», где обучали не только грамоте, но и ритуальным текстам, медицинским и математическим трактатам для тех, кто продвинется достаточно далеко.

Обучение было суровым и долгим — по разным оценкам, от нескольких лет базовой грамоты до десяти-двенадцати лет полного курса для тех, кто метил на высокие должности. День начинался на рассвете: мальчики рассаживались на полу школьного двора с глиняными черепками-остраконами и тростниковыми перьями, обмакивая их в чернила из сажи и смолы, растёртые на палитре с углублениями для чёрной и красной краски. Себекхотеп начинал с самого простого: переписывания отдельных знаков иератического письма — скорописной формы иероглифики, которой пользовались в деловой переписке, оставляя полную иероглифику для храмовых надписей и официальных памятников.

Учителя не щадили розги — в самой школьной традиции Египта сохранилась поговорка, что «ухо мальчика находится на его спине, он слушает, когда его бьют», и Себекхотеп не раз возвращался домой со следами палки на плечах за помарку в тексте или за леность. Среди текстов, которые заставляли переписывать снова и снова, было знаменитое «Поучение» — сочинение, восхвалявшее профессию писца и бранившее все остальные ремёсла: кузнеца, что воняет рыбьей чешуёй у горна, гончара, перемазанного глиной, земледельца, которого кусают насеко-

мые на поле и обирают сборщики податей, воина, которого бьют палками на учении и ранят в бою. «Стань писцом, — гласил текст, который Себекхотеп знал наизусть ещё до того, как начал понимать его целиком, — это избавит тебя от тяжкого труда и сделает высоким человеком».

К двенадцати-тринадцати годам, освоив основной корпус знаков и несколько сотен стандартных формул деловых документов, подросток переходил к специализации: одни готовились в писцы при храмовом хозяйстве, другие — в войсковые писцы, которые вели учёт личного состава и снабжения, третьи, самые способные, — к службе в канцелярии самого визиря или даже дворца. Себекхотеп, по рекомендации учителя, отмечавшего его аккуратный почерк и быстрый счёт, был направлен на последний год обучения в писцовскую школу при дворце в число учеников, готовившихся к службе в царской канцелярии.

Помимо письма и счёта, программа включала основы геометрии — вычисление площади полей неправильной формы для налогового учёта, объёма зерновых куч и амбаров, пропорций при разметке строительных площадок. Учили также составлению деловых писем по строгому формуляру: обращение к адресату с пожеланиями здоровья и благополучия, затем изложение сути дела, затем формула прощания — отступление от этого порядка считалось почти такой же ошибкой, как неверно написанный знак. Отдельным предметом было заучивание наизусть классических литературных и религиозных текстов — гимнов богам, поучений мудрецов прошлого, фрагментов «Текстов пирамид» и позднейших заупокойных сборников, — которые будущий писец должен был уметь не только списать, но и процитировать по памяти на экзамене перед старшим жрецом школы. Среди упражнений старших учеников встречались и язвительные образцы деловой переписки, в которых один писец насмешливо разбирал ошибки другого в описании далёкого похода или незнакомой местности, высмеивая его неосведомлённость столь едкими словами, что Себекхотеп поначалу принимал эти тексты за настоящую вражду между какими-то давно умершими писцами, прежде чем учитель объяснил, что это особый учебный жанр, призванный научить будущего чиновника и точности изложения, и умению отстоять собственную правоту в письменном споре. Тех, кто не справлялся с нагрузкой, годами позже, уже взрослыми людьми, нередко можно было узнать по шрамам на ладонях — не от физического труда, а от многолетнего сжимания тростникового пера сверх всякой меры, лишь бы угодить требовательному наставнику.

Первая должность Себекхотепа, полученная около восемнадцати лет, была скромной: младший писец при одном из царских амбаров, куда свозили зерно с номов для государственных нужд и для оплаты труда ремесленников и чиновников. Работа заключалась в ежедневном учёте: сколько мешков зерна доставлено, сколько выдано, сколько осталось, — всё записывалось иератическим письмом на папирусе и черепках, с проверкой мер и печатей. Ошибка в счёте грозила не только взысканием от начальника, но, как подчёркивали наставники с первого дня обучения, могла обернуться голодом для тех, кому зерно причиталось в оплату труда.

Рацион взрослого писца при дворе включал в себя хлеб разных сортов, пиво, мясо — говядину и птицу — по праздникам, рыбу почти ежедневно, овощи с собственного или арендованного огорода, вино для более состоятельных. Одежда была из тонкого льна, в отличие от грубой ткани простолюдина; писцы часто изображались на памятниках с характерной позой — сидящими со скрещёнными ногами, с развёрнутым на коленях свитком папируса. Себекхотеп, продвигаясь по службе, через несколько лет получил должность при зерновом хозяйстве самого царского двора — более ответственный и более почётный пост, дававший доступ к закрытым дворцовым помещениям и к кругу чиновников более высокого ранга. Многие писцы, достигшие заметного положения, заказывали себе при жизни или оставляли в завещании распоряжение о статуе в характерной позе сидящего со скрещёнными ногами счетовода со свитком на коленях, — обычай, которому в своё время последовал и сам Себекхотеп, пожелав, чтобы потомки запомнили его именно таким человеком труда, а не праздным вельможей.

Будни чиновника такого уровня были заполнены не только счётом: писец вёл переписку от имени своего начальника, составлял отчёты для визиря, иногда сопровождал экспедиции — в каменоломни, на рудники, в соседние земли — для учёта добытого и привезённого. Грамотность в Египте оставалась уделом абсолютного меньшинства населения — по оценкам современных историков, читать и писать умело не более нескольких процентов жителей страны, — и это меньшинство составляло становой хребет государственного аппарата: без писцов не собирались налоги, не велось строительство, не функционировала армия.

Царские амбары, которыми со временем стал заведовать Себекхотеп, представляли собой целую сеть складов по всей стране, куда зерно свозили с полей сразу после жатвы и откуда затем выдавали его работникам государственных строек, жрецам, чиновникам и войску в качестве основной формы жалованья, поскольку монета в Египте того времени ещё не вошла в обиход, а хлеб и зерно служили универсальной мерой стоимости не хуже серебра в более поздние эпохи. Карьерная лестница писца была устроена ступенчато и вполне предсказуемо для тех, кто проявлял усердие и имел нужные связи. Начав младшим писцом амбара, Себекхотеп со временем перешёл на должность «писца, считающего зерно» целого округа, затем — помощника распорядителя царского хозяйства; каждая ступень означала не только более высокое жалованье, выплачиваемое натурой — зерном, тканью, пивом, маслом, — но и доступ к более широкому кругу привилегий: собственный штат младших писцов в подчинении, более просторный дом, право присутствовать на определённых дворцовых церемониях. Высшие ступени этой лестницы — должности верховного казначея, начальника работ или самого визиря — оставались для большинства писцов недостижимой вершиной, но были не вовсе закрыты: история Египта знала немало случаев, когда человек, начинавший простым счетоводом амбара, благодаря уму и удаче дослуживался до одного из первых постов в государстве, уступавших только самому фараону.

Основой всей хозяйственной системы, которой служил Себекхотеп, оставался ежегодный разлив Нила, уровень которого измеряли особыми каменными сооружениями — ниломерами, устроенными в виде ступенчатых колодцев или размеченных колонн на берегу реки в нескольких ключевых точках страны, от первого порога на юге до самой Дельты: по высоте, на которую поднималась вода в отмеченный день разлива, царские писцы заранее определяли, каким будет урожай — скудным, средним или обильным, — и соответственно этому прогнозу устанавливали размер налога, который предстояло собрать с каждого нома в предстоящем году. Себекхотеп, ещё учеником посещавший с наставником один из таких ниломеров неподалёку от Мемфиса, запомнил на всю жизнь, с каким напряжённым вниманием толпа горожан и местных чиновников следила за медленно поднимающейся водой в отмеченных зарубках колодца, зная, что от нескольких лишних или недостающих локтей высоты зависит не отвлечённая цифра в налоговом реестре, а то, будут ли в предстоящем году сытыми их собственные семьи, — наблюдение, которое помогло ему много лет спустя особенно остро почувствовать всю тяжесть ответственности, легшей на его плечи в год скудного разлива и всеобщего голода.

Пиком карьеры и самым напряжённым эпизодом в жизни Себекхотепа стал год, когда разлив Нила оказался недостаточным, а урожай — скудным по всей стране. Царские амбары, в одном из которых служил Себекхотеп, должны были перераспределять скудные запасы так, чтобы хватило и на содержание двора, и на оплату труда ремесленников, занятых на царских стройках, и на помощь голодающим номам. Именно в такой момент писец из простого счетовода превращался в человека, от решений которого зависели жизни: он составлял списки, кому и сколько будет выдано, вёл учёт недостач, фиксировал случаи хищения зерна нечестными смотрителями хранилищ.

В разгар этого кризисного года Себекхотепу было поручено лично сопровождать баржу с зерном, направлявшуюся в один из южных номов, где голод был особенно острым, и проследить за честной раздачей на месте — минуя местного номарха, на которого поступили жалобы

о присвоении части запасов. Задача была по-настоящему рискованной: номарх обладал реальной властью в своих землях, и столичный писец, прибывший с ревизией, рисковал не только карьерой, но, случись местным властям решить дело силой, — и жизнью.

Путь вверх по реке занял почти две недели. На месте Себекхотепа встретили холодно: управляющий амбарами нома, человек, посаженный туда самим номархом, с первого дня всячески затягивал проверку — то не находились ключи от хранилищ, то писцы, которые должны были предоставить встречные записи, оказывались «в отъезде». Себекхотеп, памятуя наставления учителей о том, что честный счёт не боится никакой проверки, начал с малого: потребовал личного присутствия при вскрытии каждого амбара и сверял реальное количество мешков зерна с тем, что значилось в местных записях, записывая расхождения на отдельном папирусе, который держал при себе день и ночь. На третий амбар недостача оказалась столь значительной, что скрыть её местным чиновникам уже не удавалось: по документам должно было храниться втрое больше зерна, чем оказалось на деле, — остальное, судя по показаниям перепуганных охранников складов, было тайно продано соседним номам в обход царской казны.

Себекхотеп вёл дотошный учёт от момента погрузки зерна на барже в Мемфисе до последнего мешка, выданного голодающей семье в дальней деревне, лично сверяя печати на амбарах и опрашивая местных писцов, а по возвращении представил визирю отчёт, по которому номарх был отстранён от управления хранилищами, а виновные в хищении чиновники — наказаны телесно и обязаны были возместить недостачу из собственного имущества. Себекхотепа после этого случая стали привлекать к наиболее деликатным ревизионным поручениям двора, и к сорока годам он дослужился до должности распорядителя одного из крупных царских хозяйств — не вельможа по рождению, но человек, чей голос в вопросах хозяйства страны звучал наравне с голосами знати.

Себекхотеп женился около двадцати лет, вскоре после получения первой придворной должности, на дочери другого писца — брак, устроенный через знакомство семей, но, судя по дошедшим до нас образцам личной переписки людей его круга, не лишённый и настоящей привязанности: супруги в Египте нередко изображались на памятниках в позе объятия, а в письмах обращались друг к другу со словами нежности, которые звучат удивительно живо даже спустя тысячелетия. Жену звали Нубемипет; она вела хозяйство большого городского дома, следила за слугами — в семье такого достатка держали одну-двух служанок, — и родила четверых детей, из которых выжили трое.

Старшего сына Себекхотеп, как и предсказывала семейная традиция, с ранних лет готовил к той же писцовской стезе: мальчик начал обучение в той же храмовой школе, где когда-то учился отец, и позже тоже поступил на государственную службу. Дочь выдали замуж за молодого жреца, что было для семьи писца удачной партией, укреплявшей связи с храмовой элитой города. Младший сын, не отличавшийся прилежанием к грамоте, к огорчению отца, так и не одолел полного курса обучения и в итоге пошёл в войсковые писцы — должность не столь почётную, как служба при дворце, но всё же избавлявшую от участи простого солдата, вечно рискующего жизнью в приграничных стычках.

Себекхотеп, в отличие от крестьянина, не знал постоянного физического труда и телесных увечий, свойственных работе на земле или стройке, однако сидячая работа за свитками и черепками с юных лет сказывалась иначе: современные исследования мумий писцов находят у представителей этой профессии характерные деформации позвоночника, коленей и большого пальца правой руки — следствие многолетнего сидения в характерной позе со скрещёнными ногами и держания тростникового пера. По вечерам, вернувшись со службы, Себекхотеп нередко жаловался жене на боль в пояснице и затёкшие ноги — жалобы, которые, доживи он до наших дней, врач немедленно узнал бы как профессиональную болезнь всякого человека, проводящего жизнь за письменным столом, пусть вместо стола у египтянина были собственные колени.

Семейный дом с годами разросся: к старости Себекхотепа в нём жили не только его собственные дети, но и подрастающие внуки от старшего сына, а сам он, как многие пожилые египтяне его круга, охотно брал на себя роль хранителя семейных преданий — рассказывал внукам о годах учёбы, о суровых наставниках и о том самом году голода, когда его послали с ревизией в далёкий ном, и каждый раз, пересказывая эту историю, немного приукрашивал собственную храбрость, как делают, вероятно, рассказчики во все эпохи.

К старости Себекхотеп, выйдя в отставку с государственной службы, жил в достатке на накопленное за десятилетия имущество и, как многие чиновники его уровня, заказал себе гробницу — не величественную пирамиду вельможи высшего ранга, но приличную каменную усыпальницу с расписанными стенами, на которых он велел изобразить себя за любимым занятием: сидящим писцом со свитком папируса на коленях, готовым вечно исполнять работу, которая была смыслом его жизни, уже в загробном мире.

Он умер в возрасте около шестидесяти пяти лет — немалый срок по меркам древнего Египта, но не редкость для человека его сословия, избежавшего тяжёлого физического труда, недоедания и профессиональных рисков земледельца или строителя. Последние месяцы жизни он провёл, по заведённому обычаю, составляя собственное завещание с перечнем имущества для детей и внуков — документ, который сам же, по старой привычке, записал собственной рукой, пусть почерк к тому времени и дрожал от старости.

Похороны были обставлены по всем правилам, доступным семье его достатка: тело забальзамировали, снабдили заупокойными текстами и амулетами, похоронили в гробнице с ложной дверью для общения душ живых и мёртвых и статуей, изображавшей покойного в позе писца, — той самой, что веками спустя археологи будут находить в некрополях Мемфиса и Саккары как один из самых узнаваемых образов древнеегипетской цивилизации: человек, который своим пером управлял зерном, законом и памятью целого государства.

Жрец культа Амона-Ра в Карнаке

Аменхотепа — тёзку многих фараонов и обычное имя для мальчика, рождённого в Фивах в эпоху, когда культ Амона-Ра достиг невиданного прежде могущества и богатства, — произвела на свет жена младшего жреца храмового хозяйства Карнака. Семья жила в одном из кварталов на восточном берегу Нила, неподалёку от храмовых стен, в доме, который храм сам же и предоставлял своим служителям средней руки: не дворец вельможи, но и не хижина земледельца, а добротное жилище с внутренним двором, кладовой и верхним этажом для сна в жаркие месяцы.

К тому времени, когда родился Аменхотеп, храм Амона в Карнаке владел землями по всему Египту, собственными мастерскими, стадами скота, рудниками и флотом барж для перевозки зерна и товаров — хозяйство, по размаху не уступавшее хозяйству самого фараона, а порой и превосходившее его. Жреческая должность в такой системе была не только служением богу, но и прочным местом в экономике страны, передаваемым по наследству почти так же надёжно, как ремесло писца, и отец Аменхотепа с первых дней готовил сына к той же карьере.

Сам Карнакский храм, вокруг которого строилась вся жизнь семьи Аменхотепа, к тому времени представлял собой не единое здание, а огромный, столетиями разраставшийся комплекс из дворов, колоннад, обелисков и малых святилищ, возведённых разными фараонами на протяжении многих поколений, — каждый новый правитель считал долгом благочестия пристроить к храму собственный зал или ворота, так что само строение превратилось в подобие каменной летописи, по которой можно было, при должном знании, читать историю смены царствующих династий не хуже, чем по архивным спискам писцов. Детство Аменхотепа мало отличалось от детства любого фиванского мальчика среднего достатка: бритая голова с единственной боковой прядью, игры во дворе храмового квартала, ранний интерес к обрядам, которые он наблюдал на храмовых праздниках, куда простым горожанам, в отличие от внутренних святилищ, доступ был разрешён. Самым ярким впечатлением детства для него, как и для большинства жителей Фив, становился ежегодный праздник Опет, когда статую Амона в разобранной на части священной ладье выносили из тёмных недр Карнакского храма и в пышной процессии несли по аллее сфинксов к храму Луксора — зрелище, собиравшее толпы со всего города, с музыкантами, танцорами и щедрой раздачей еды и пива от храмовых амбаров. Праздник этот в иные годы растягивался на несколько недель, и чем дольше статуя бога оставалась в Луксорском святилище, тем более обильным, по убеждению жрецов, считался будущий разлив Нила, так что продолжительность торжества служила своего рода предсказанием урожая на весь предстоящий год, — маленький Аменхотеп, ещё не понимая этой связи, просто радовался, что затянувшийся праздник означает больше дней бесплатной еды и зрелищ для всего города.

Рацион ребёнка из жреческой семьи был достаточен и разнообразен — хлеб, пиво, финики, рыба, иногда мясо, — но с раннего возраста в доме соблюдали особые пищевые ограничения, принятые среди служителей Амона: отказ от некоторых видов рыбы, которых считали нечистыми для жреца, предпочтение льняной одежды шерстяной, которую храмовая традиция считала ритуально загрязняющей. Мальчик с детства привыкал к этим правилам как к естественной части жизни, не задумываясь об их происхождении, точно так же, как не задумывается о причинах обычая ребёнок любой эпохи и культуры.

Обучение будущего жреца начиналось с той же грамоты, что и у писцов, — в школе при самом храме, где учили не только читать и писать, но и заучивать наизусть гимны Амону-Ра, порядок храмовых ритуалов, правила ритуальной чистоты. К двенадцати годам Аменхотеп уже знал наизусть утренний гимн, которым жрецы будили статую бога, и порядок очистительных обрядов, которые должен был пройти сам, прежде чем впервые войти во внутренние покои святилища.

Посвящение в низший разряд жречества — «уаб», то есть «чистый», — происходило через обряд телесного и ритуального очищения: обрезание, которое в Египте совершали мальчикам ещё в раннем возрасте независимо от будущей профессии, полное бритьё волос на голове и теле, которое жрецы повторяли каждые несколько дней на протяжении всей службы, купание в храмовом священном озере перед каждым входом в святилище. Жрецы разряда «уаб» не были профессиональными священнослужителями в современном смысле: большинство из них продолжали заниматься мирскими делами — земледелием, ремеслом, торговлей, — и несли храмовую службу по очереди, разделённые на четыре группы, каждая из которых заступала на месячное дежурство раз в четыре месяца. Это устройство, обнаруженное современными историками по храмовым архивам, позволяло содержать огромный штат культа, не отрывая слишком многих людей от хозяйственной жизни страны на весь год.

Аменхотеп, однако, с юности показывал склонность именно к храмовой службе и, пройдя обряд посвящения в шестнадцать лет, остался при храме на постоянной основе, что было возможно для тех, чьи семьи были достаточно связаны с храмовым хозяйством, чтобы обеспечить сыну такую карьеру. Следующие годы он провёл, поднимаясь по ступеням жреческой иерархии: от простого «уаб», допущенного лишь к внешним дворам храма, к «божьему отцу» — более высокому разряду, дававшему доступ к внутренним помещениям и участию в ежедневном ритуале кормления и одевания статуи бога.

Будни жреца среднего ранга при Карнаке состояли из строго расписанного ритуала, который повторялся изо дня в день столетиями без существенных изменений. На рассвете жрецы, назначенные на дежурство, совершали омовение в священном озере, облачались в чистые льняные одежды, входили в тёмное святилище, где за закрытыми дверями хранилась статуя бога — небольшая, в человеческий рост или меньше, из драгоценного металла и камня, облачённая в собственные одеяния и украшения. Статую открывали, воскуривали благовония, умащали маслами, переодевали в свежие одежды, подносили ей пищу — хлеб, пиво, мясо, фрукты, — которую, по представлениям египтян, бог вкушал незримой сущностью, после чего эта же пища поступала обратно в храмовое хозяйство и распределялась среди жрецов и работников как часть их содержания.

Доступ во внутреннее святилище имели лишь немногие жрецы высшего ранга — для большинства населения Египта, включая самого рядового земледельца, бог оставался невидимым, скрытым за стенами и колоннами, и только раз в год, во время праздничных процессий, статую выносили наружу, позволяя простому народу хотя бы издали прикоснуться к присутствию божества. Помимо ритуальных обязанностей, жрецы такого ранга, как Аменхотеп, занимались управлением храмовым хозяйством: учётом урожая с храмовых земель, надзором за ремесленными мастерскими при храме, где ткали полотна и изготовляли утварь для культа, распределением пайков среди многочисленного храмового персонала — от простых работников до верховных жрецов.

Рацион взрослого жреца был обилен и разнообразен за счёт доли от храмовых подношений: хлеб нескольких сортов, пиво и вино, мясо и птица, фрукты и овощи с храмовых садов, — положение, которому завидовали многие миряне, зная, что жрецы Амона питаются не хуже, а порой и лучше придворной знати. Жизнь в целом была упорядоченной и предсказуемой, подчинённой не сезонам разлива и урожая, как у земледельца, а строгому ритуальному календарю праздников, очищений и подношений.

Храмовое хозяйство, которому служил Аменхотеп, к тому времени разрослось до размеров, которые поздние историки будут называть «государством в государстве»: Карнаку принадлежали десятки тысяч голов скота, обширные земельные угодья по всему Египту и даже в завоёванных землях Нубии, корабельные верфи, рудники золота в восточной пустыне, мастерские ткачей, гончаров, ювелиров и резчиков по камню. Управление этим богатством требовало армии чиновников-жрецов, и именно здесь, в хозяйственной, а не только обрядовой части

службы, Аменхотеп нашёл своё истинное призвание: он обладал цепким умом счетовода и быстро заслужил репутацию человека, которому можно доверить надзор за амбарами и мастерскими без опасения хищений, нередких среди менее щепетильных храмовых управляющих. Его начальник, один из «вторых пророков» Амона — второй по значению сан в иерархии культа после верховного первосвященника, — стал поручать ему всё более ответственные ревизии храмовых владений в дальних номах, и Аменхотеп, не оставляя собственно жреческих обязанностей, превратился в важное звено той экономической машины, которая кормила и одевала тысячи людей, связанных с культом Амона.

Над всем этим огромным хозяйством, помимо верховного первосвященника-мужчины, стояла и женщина высочайшего ранга — супруга бога Амона, титул, который в разные эпохи носила либо сама царица, либо одна из царских дочерей, остававшаяся, в отличие от большинства египетских женщин, не связанной обычным браком и управлявшая от имени богини огромными землями и сокровищницей, не уступавшими в иных случаях богатству самого первосвященника. Аменхотеп лишь изредка видел эту высокопоставленную жрицу во время больших церемоний, но знал, что именно её печать нередко скрепляет важнейшие хозяйственные распоряжения храма, — ещё одно свидетельство того, насколько сложно и многослойно было устроено управление богатством Карнака, не сводившееся к одной лишь мужской жреческой иерархии.

Помимо повседневных обрядов и хозяйственных забот, храм Амона исполнял и ещё одну важную для простых фиванцев функцию, в которой Аменхотепу доводилось участвовать не раз: во время процессий, подобных празднику Опет, священную ладью бога выносили к собравшейся толпе просителей, задававших вслух вопросы о спорных делах — кто прав в тяжбе о земле, не солгал ли подозреваемый в краже, — и жрецы, несшие носилки, истолковывали едва заметное колебание или наклон ладьи как утвердительный или отрицательный ответ самого бога, записывая эти оракульские решения с той же тщательностью, с какой писцы фиксировали приговоры обычного светского суда. Аменхотеп, участвуя в подобных процессиях ещё до памятного случая с накренившейся ладьёй, хорошо знал, что истинное толкование этих едва уловимых движений носилок оставалось всецело на усмотрение самих несущих жрецов, достаточно опытных, чтобы почувствовать сквозь общий вес ношу малейшее отклонение, — и втайне признавался самому себе, что эта власть толковать волю бога перед лицом надеющейся толпы временами тяготила его совесть сильнее, чем любая иная обязанность храмовой службы, ведь от его и его товарищей истолкования порой зависела репутация, а то и свобода обычного фиванского горожанина, чья тяжба была вынесена на суд самого Амона.

Пиком служения Аменхотепа и эпизодом, который он пересказывал всю оставшуюся жизнь, стал год большого праздника Опет, когда ему, уже достигшему среднего жреческого ранга, выпала честь нести на плечах священную ладью с изображением Амона в процессии от Карнака к Луксору вместе с другими избранными жрецами. Ладья, покоившаяся на носилках, была тяжела — драгоценный металл обшивки, деревянный остов, украшения, — и путь по аллее сфинксов под палящим солнцем, в окружении ликующей толпы, музыкантов и танцовщиц, требовал не только физической силы, но и безупречного соблюдения ритуального порядка: любая заминка, любое отклонение процессии от предписанного маршрута истолковывалось народом как дурное предзнаменование.

На середине пути один из носильщиков поскользнулся на каменных плитах, залитых пролитым во время обряда вином, и на мгновение ладья резко накренилась — крик ужаса прошёл по толпе, решившей, что бог разгневан. Аменхотеп, стоявший рядом с накренившимся углом носилок, успел принять на себя тяжесть и выровнять ладью прежде, чем она коснулась земли — падение священного изображения считалось бы катастрофическим знаком для всего города и для самого фараона, чьё благополучие, по верованиям египтян, было напрямую связано с благосклонностью Амона. Жрецы восстановили равновесие, процессия продолжилась

без видимых задержек, и лишь немногие свидетели у самых носилок знали, насколько близко обряд был к катастрофе.

После этого случая верховный жрец отметил выдержку и силу Аменхотепа перед всем храмовым советом, и его имя стало известно за пределами собственного храмового подразделения — случай, который в последующие годы помог ему получить более ответственную должность в управлении одной из храмовых мастерских, а под старость — место среди старших жрецов, допущенных к советам при верховном первосвященнике Амона, человеке, чья власть в эпоху расцвета культа порой соперничала с властью самого фараона.

Среди жрецов, несших ладью в тот день рядом с Аменхотепом, был и его давний товарищ по храмовой школе, с которым они вместе заучивали утренние гимны ещё мальчишками, — и именно этот товарищ, по позднейшим рассказам Аменхотепа собственным внукам, первым крикнул остальным носильщикам сомкнуть ряды плотнее, когда ладья накренилась, не дав всей процессии впасть в панику прежде, чем Аменхотеп успел выправить груз. Этот случай товарищеской слаженности в минуту опасности Аменхотеп ценил едва ли не так же высоко, как собственную выдержку, часто повторяя детям, что чудо в тот день совершили не его одни руки, а слаженность всей бригады носильщиков, обученных годами совместной службы.

Слух о происшествии разошёлся по городу быстрее, чем сама процессия успела дойти до Луксорского храма: к вечеру того же дня в квартале жрецов только и говорили о том, как Амон явил свою волю через твёрдые руки простого служителя, не позволив священной ладье коснуться земли. Для самого Аменхотепа этот день навсегда разделил жизнь на «до» и «после»: прежде он был одним из многих безымянных жрецов среднего ранга, после — человеком, чьё имя верховный первосвященник запомнил лично и чьё мнение стали спрашивать на советах, где решались вопросы, далеко выходящие за пределы одних только ритуалов, — вопросы распределения храмовых земель, назначения управляющих дальними владениями, даже участия храма в государственных делах в периоды, когда власть фараона ослабевала, а влияние жречества Амона, напротив, росло.

Жрецы культа Амона, в отличие от некоторых других священных служений Египта — например, девственниц-служительниц отдельных культов, — не были связаны обетом безбрачия: Аменхотеп женился около двадцати двух лет на дочери другого храмового служащего, и брак этот, как и у большинства египтян его сословия, был устроен через договорённость семей, но сопровождался искренней взаимной привязанностью, судя по тому, как супруги впоследствии изображали себя на заупокойных памятниках — сидящими рядом, в позе нежного объятия. Жена, носившая храмовую должность певицы и музыкантши в культе богини Мут, супруги Амона, родила пятерых детей, из которых до взрослых лет дожили четверо.

Сыновья Аменхотепа унаследовали отцовскую стезю, один за другим поступая на службу при том же храме; дочь стала, как и мать, храмовой музыкантшей — должность, считавшаяся почётной для женщин жреческого круга и дававшая им собственный доход и определённую независимость, редкую для женщины той эпохи. Жреческая семья в Фивах того времени нередко представляла собой целую династию, из поколения в поколение занимавшую одни и те же храмовые посты, и семья Аменхотепа не была исключением: внуки его продолжали служить Амону в Карнаке даже тогда, когда сам он давно покинул этот мир.

Домашняя жизнь семьи протекала в достатке, недоступном большинству египтян: помимо собственного дома у храмовых стен, Аменхотепу со временем выделили небольшой надел храмовой земли за усердную службу, доход с которого шёл в семейную казну в дополнение к жреческому содержанию. Жена Аменхотепа, несмотря на занятость храмовой музыкой, вела дом твёрдой рукой, распоряжалась двумя домашними служанками и внимательно следила за тем, чтобы дети с ранних лет усваивали не только грамоту, но и правила ритуальной чистоты, которые семья соблюдала даже строже, чем того требовал обычный быт жреческого квартала — так, словно сам дом Аменхотепа был продолжением храма. По вечерам, когда

дневные обязанности были исполнены, семья собиралась во внутреннем дворе под открытым небом, и Аменхотеп, как многие отцы его круга, рассказывал детям истории о богах и о собственном пути служения, стараясь передать им не только должность, но и подлинное благоговение, с которым сам относился к культу.

К старости Аменхотеп, накопивший за десятилетия службы немалое личное имущество за счёт доли от храмовых доходов, заказал себе гробницу в некрополе на западном берегу Нила, среди гробниц других жрецов и чиновников среднего и высшего ранга — не в Долине царей, зарезервированной для самих фараонов, но в одном из соседних некрополей, украшенном росписями не менее искусными. На стенах гробницы он велел изобразить сцены собственного служения: себя, подносящего дары статуе Амона, себя, несущего священную ладью в процессии праздника Опет — тот самый эпизод, которым он гордился больше всего в жизни.

Он дожил до преклонных лет — около семидесяти, что было значительным возрастом даже для человека его обеспеченного сословия, — сохраняя до последних месяцев ясность ума и формальное участие в жреческих советах, хотя повседневные ритуальные обязанности давно передал младшим жрецам, включая собственных сыновей. Смерть пришла тихо, от естественного угасания, в собственном доме у храмовых стен, где он провёл практически всю жизнь.

Похороны были обставлены со всей торжественностью, доступной жрецу его ранга: мумификация по высокому разряду, заупокойные тексты, начертанные искусными писцами, многочисленные подношения от храмового хозяйства, которому он служил полвека. Его похоронили с теми же молитвами Амону-Ра, которые он сам произносил тысячи раз за свою жизнь — богу, чей культ в Фивах его времени стал почти равен культу самого государства, а жречество которого — одной из самых влиятельных и обеспеченных каст древнего Египта.

Бальзамировщик

Ипи родился в квартале бальзамировщиков на западном берегу Фив, в семье, которая из поколения в поколение занималась самым необычным из египетских ремёсел — подготовкой тел умерших к вечной жизни. Квартал этот стоял особняком от прочих городских кварталов, ближе к некрополю, чем к жилым районам живых, и соседи-ремесленники из других цехов — гончары, ткачи, пекари — относились к бальзамировщикам со смесью уважения и опаски: ремесло было необходимым, освящённым самим богом Анубисом, покровителем бальзамирования, но соприкосновение с мёртвым телом считалось ритуально нечистым, и семьи бальзамировщиков нередко жили несколько обособленно от остальной общины, роднясь преимущественно между собой.

Отец Ипи был «хери-шешета» — так называли мастера, допущенного к самым тонким операциям обряда, в отличие от простых работников мастерской, выполнявших черновую часть процесса. Мать происходила из другой семьи того же квартала, и свадьба их, как и у большинства детей бальзамировщиков, была устроена заранее, почти без выбора — ремесло требовало, чтобы тайны его передавались внутри узкого круга посвящённых семей, не расходясь по всему городу.

Квартал бальзамировщиков соседствовал с не менее своеобразными ремесленными поселениями западного берега — деревней мастеров, строивших и расписывавших гробницы знати в скалах соседней долины, чьи жители, подобно семье Ипи, также передавали секреты своего дела из поколения в поколение внутри узкого круга посвящённых родов и также считались людьми, чьё ремесло требовало особой ритуальной подготовленности для соприкосновения со сферой смерти и вечности. Ипи рос, как и другие дети квартала, в доме неподалёку от мастерских-«ибу» и «уабет» — «палаток очищения» и «домов красоты», где заканчивали свой путь по земле тела умерших фиванцев всех сословий. Детство его отличалось от детства сверстников из других кварталов тем, что запах натровой соли и благовоний, которыми пропитывался воздух вокруг мастерских, был для него с рождения таким же привычным, как для крестьянского ребёнка — запах хлева. Рацион семьи был обычным для ремесленников среднего достатка: хлеб, пиво, рыба, овощи, изредка мясо по праздникам, — ремесло бальзамировщика, хотя и окружённое священным ореолом, не приносило такого богатства, как служба при храме высокого ранга или царском дворе.

С раннего возраста детей в квартале держали поодаль от самой сути ремесла — вскрытия и обработки тел, — но позволяли наблюдать за менее пугающими этапами: подготовкой льняных бинтов, растиранием благовонных смол, плетением амулетов из фаянса и полудрагоценных камней, которые закладывались между слоями пелён. К восьми-девяти годам Ипи уже умел отличить качественную льняную ткань от грубой, знал названия основных благовоний — мирры, ладана, кедрового масла, — и помогал старшим резать полосы ткани нужной длины для пеленания.

Полноценное обучение самому ремеслу начиналось около двенадцати-тринадцати лет, и первые годы ученичества, как вспоминали позже многие мастера квартала, были для мальчиков самым тяжёлым временем в жизни: отец и старшие родственники учили не просто анатомии и техническим приёмам, но прежде всего — умению сохранять внешнее спокойствие и ритуальную сосредоточенность перед лицом смерти в самых разных её обличьях, от тела дряхлого старика до тела ребёнка или человека, погибшего насильственной смертью.

Ипи начинал с самой низшей, самой нечистой с ритуальной точки зрения операции — с роли «надрезающего», которого в мастерской называли «парасхитом»: именно этот работник каменным эфиопским ножом делал первый надрез на левом боку тела, через который предстояло извлечь внутренние органы. По давнему обычаю, зафиксированному позднее грече-

скими путешественниками, наблюдавшими за египетскими похоронными обрядами, парасхита после надреза полагалось с криками и бранью символически прогонять камнями прочь от тела — ритуальное изгнание того, кто осмелился нанести увечье человеческой плоти, прежде чем остальные мастера, более высокого ранга, с благоговением продолжали работу уже как восстановители, а не разрушители тела. Ипи, пройдя через эту унизительную, но необходимую ступень обучения, усвоил на собственном опыте странную двойственность своего ремесла: оно равно нуждалось и в руке, причиняющей увечье, и в руках, эту рану исцеляющими в глазах богов.

Высший мастер мастерской во время самых ответственных операций обряда надевал церемониальную маску с головой шакала, изображавшую самого Анубиса, бога бальзамирования, — обычай, засвидетельствованный и в храмовых изображениях, и в сохранившихся экземплярах таких масок: считалось, что в этот миг мастер действует не от собственного имени, а как воплощение самого бога, присутствовавшего, по древнему мифу, при бальзамировании тела убитого и впоследствии воскрешённого Осириса, первого из богов, прошедшего через этот же обряд. Ипи, прежде чем ему позволили самому надевать эту маску в зрелые годы, долго наблюдал, как в ней работает отец, и чувствовал, что именно в такие минуты грань между ремеслом и священнодействием стирается почти полностью.

Следующие годы он учился извлекать мозг через носовой проход длинным бронзовым крюком — операция, не имевшая отношения к сохранению органа как такового (мозг просто выбрасывали), но необходимая, чтобы полость черепа не вздувалась и не искажала черты лица при последующем высушивании. Внутренние органы — лёгкие, печень, желудок и кишечник — извлекали через боковой надрез и после отдельной обработки натром укладывали в четыре сосуда, именуемых канопами, каждый из которых находился под защитой одного из четырёх сыновей бога Хора. Сердце, в отличие от прочих органов, оставляли на месте либо бережно возвращали в тело после обработки — египтяне верили, что именно сердце, а не мозг, было вместилищем разума, памяти и нравственного облика человека, и на загробном суде Осириса сердце покойного взвешивали на весах против пера богини истины Маат.

К двадцати годам Ипи освоил весь процесс бальзамирования целиком и стал полноправным мастером «уабет» — мастерской, где проходила основная, самая длительная часть обряда. Процесс, по свидетельству греческого историка Геродота, посетившего Египет и расспрашивавшего местных жрецов о похоронных обычаях, занимал около семидесяти дней от момента смерти до окончательного погребения — срок, который сам Ипи с детства знал как священное число, связанное с движением звезды Сириус и семидесятидневным периодом, в течение которого эта звезда исчезает с ночного неба перед новым восходом, предвещающим разлив Нила.

Натр, без которого всё ремесло Ипи было бы попросту невозможно, добывали в нескольких известных по всему Египту солончаковых впадинах, важнейшая из которых лежала в пустыне к западу от Дельты и поставляла минерал не только фиванским мастерским, но и бальзамировщикам всей страны, — караваны ослов с мешками натра регулярно прибывали в квартал Ипи, и перебои в этих поставках, случавшиеся в неспокойные годы, грозили мастерским самой настоящей остановкой работы, поскольку заменить это природное вещество обычной поваренной солью, как пытались делать от бедности некоторые менее щепетильные мастера, означало недопустимо ухудшить сохранность тела. Тело после извлечения органов обкладывали со всех сторон сухой натровой солью — природным минералом, в изобилии добываемым в пустынных впадинах к западу от Дельты, — и оставляли высыхать на протяжении примерно сорока дней, пока вся влага не покидала ткани. Ипи и его помощники ежедневно проверяли состояние тела, при необходимости заменяя отсыревшую соль свежей; работа требовала терпения и методичности куда больше, чем физической силы, хотя обращение с иссохшим после натровой обработки телом — лёгким, хрупким, уменьшившимся в объёме, — тоже требовало

сноровки, чтобы не повредить кожу и черты лица, которые семья покойного рассчитывала узнать на погребальной церемонии.

После высушивания тело промывали пальмовым вином и благовонными растворами, набивали полости льняными тампонами, пропитанными смолами и ароматическими веществами, чтобы восстановить естественные объёмы лица и тела, а затем приступали к долгому пеленанию — иногда до нескольких сотен метров льняной ткани, слой за слоем, с вложенными между пеленами амулетами: скарабеями для сердца, узлами Исиды, глазами Уджат для защиты и восстановления целостности тела в загробном мире. Опытный мастер вроде Ипи знал наизусть заупокойные формулы, которые полагалось произносить при укладке каждого амулета, — часть ритуала, без которой, по верованиям египтян, сама по себе механическая подготовка тела не имела силы.

Не всякая семья могла позволить себе полный семидесятидневный обряд с канопами, драгоценными амулетами и десятками слоёв тончайшего льна: мастерская, где работал Ипи, принимала заказы трёх разрядов, о чём прямо говорили и позднейшие греческие и римские авторы, расспрашивавшие египетских жрецов. Самый дорогой разряд, доступный жреческой и чиновничьей знати, включал полное извлечение внутренностей через боковой надрез, канопы, позолоченную маску и множество амулетов. Средний разряд, которым пользовались зажиточные ремесленники и мелкие чиновники, обходился без части дорогих смол, заменяя их более дешёвыми местными составами, а извлечение органов нередко ограничивали кишечником, промывая брюшную полость пальмовым маслом через задний проход, не делая бокового надреза вовсе. Беднейший разряд, доступный простым горожанам, сводился к очищению тела кедровым маслом, которое растворяло часть внутренних тканей, и последующему высушиванию в натре без всякого извлечения органов — способ куда более грубый, но всё же дававший семье возможность исполнить священный долг перед умершим, не разорившись при этом вконец. Ипи с юности знал, как работать во всех трёх разрядах, и ценил именно это умение — заказчиков среднего и низшего достатка в Фивах было куда больше, чем знатных вельмож, и мастерская держалась на потоке именно таких, не самых щедрых, но постоянных заказов.

Самым памятным испытанием в карьере Ипи стал год, когда в мастерскую привезли тело молодой женщины из знатной фиванской семьи, умершей внезапно, в разгар самого жаркого летнего месяца, когда жара в Верхнем Египте превращала обычные сроки обработки в состязание со временем: разложение в такую погоду начиналось быстрее, чем в прохладные месяцы, и мастерам приходилось работать стремительнее обычного, рискуя впервые в карьере Ипи не успеть должным образом подготовить тело прежде, чем изменения в тканях станут необратимыми и бросят тень на репутацию всей мастерской.

Старший мастер, отец Ипи, к тому времени уже немолодой и нездоровый, не смог лично руководить работой, и ответственность легла на самого Ипи — на тот момент опытного, но ещё не признанного главным мастером своей семьи. Он принял решение, выходившее за рамки обычного порядка: увеличить количество натровой соли вдвое против привычной меры и начать обработку органов раньше, чем предписывал традиционный порядок операций, рискуя нарушить освящённую веками последовательность ради того, чтобы опередить порчу плоти. Семья покойной, узнав о спешке, была взволнована — любое отступление от канона страшило родственников не меньше, чем сама смерть, ведь от правильности обряда, как верили египтяне, зависела посмертная судьба души усопшей.

Последним этапом подготовки тела, которым завершалась работа мастерской перед самой погребальной процессией, был обряд «отверзания уст и очей» — ритуал, который совершал уже не бальзамировщик, а жрец, прикасавшийся к лицу мумии особым теслообразным инструментом, символически возвращая умершему способность видеть, говорить, дышать и принимать пищу в загробном мире. Ипи, хотя сам не проводил этот обряд, всегда присутствовал при нём как представитель мастерской, готовой ответить на любой вопрос жреца о

состоянии тела под пеленами, и каждый раз испытывал странное, трудно объяснимое волнение, наблюдая, как многодневный труд его рук завершается словами, возвращающими покойному подобие жизни. Ипи не отступился от решения. Через семьдесят дней тело было готово к погребению в состоянии, которое заслужило похвалу даже придирчивых жрецов, наблюдавших за последним этапом обряда перед погребальной процессией, — кожа сохранила естественный тон, черты лица остались узнаваемыми для безутешных родных, что в условиях летней жары было подлинным достижением мастерства. Этот случай укрепил за Ипи репутацию мастера, способного принимать решения в кризисных обстоятельствах, не нарушая при этом священной сути обряда, и в последующие годы именно к нему стали обращаться семьи, нуждавшиеся в бальзамировании в неблагоприятных условиях — в разгар эпидемий, в периоды сильнейшей летней жары, когда счёт времени шёл не на дни, а на часы.

Помимо собственно бальзамирования, мастерская, где служил Ипи, поддерживала тесные связи с другим цехом, без которого ни одно достойное погребение в Фивах не обходилось, — профессиональными плакальщицами, которых нанимали сопровождать погребальную процессию от дома покойного до некрополя, изображая своими пронзительными причитаниями и разорванными одеждами скорбь богинь Исиды и Нефтиды, оплакивавших, по древнему мифу, убитого Осириса. Ипи с детства знал некоторых из этих женщин по именам — они нередко заходили в мастерскую накануне похорон, чтобы договориться о времени, когда готовое тело можно будет передать семье для последнего прощания перед процессией, — и всякий раз поражался, как будничный, почти деловой разговор о порядке церемонии мгновенно сменялся у этих же женщин неподдельным, душераздирающим воплем, едва процессия трогалась в путь, точно скорбь, которую они разыгрывали за плату, становилась в этот миг настоящей, разделяемой со всей искренностью с родными умершего.

Ипи женился, как и предполагал обычай квартала, на девушке из другой семьи бальзамировщиков — браки за пределами узкого ремесленного круга были редкостью, ведь мало кто из посторонних семей желал родства с людьми, чьи руки ежедневно соприкасались со смертью, сколь бы священной она ни считалась. Жену звали Хенуттауи; она вела домашнее хозяйство и, что было не редкостью среди женщин ремесленного квартала, сама участвовала в некоторых менее табуированных этапах подготовки — плетении погребальных венков из цветов, окраске льняных пелён, изготовлении и продаже амулетов для менее состоятельных заказчиков, которые не могли позволить себе полный обряд, проводившийся в главной мастерской.

Супруги вырастили четверых детей, и трое из них — два сына и дочь — продолжили семейное ремесло, как делали поколения их предков. Семейная жизнь в квартале бальзамировщиков была крепко связана внутренними браками и совместным владением тайнами ремесла, которые передавались не кому попало, а только внутри узкого круга посвящённых родов, — и Ипи, как и его отец прежде, относился к сохранению этих секретов как к священному долгу, не меньшему, чем сама подготовка тел к вечности.

Жизнь дома строилась вокруг строгого разделения чистого и нечистого: Ипи, вернувшись из мастерской, прежде чем войти во внутренние комнаты, всегда совершал омовение во дворе, переодевался в домашнюю одежду и лишь тогда садился за общий стол с женой и детьми — привычка, усвоенная ещё от отца и передаваемая, в свою очередь, собственным сыновьям как часть ремесленной дисциплины, не менее важная, чем владение ножом или знание пропорций натра. Хенуттауи, несмотря на тесную причастность семьи к миру смерти, слыла среди соседок женщиной жизнерадостной и хлебосольной; в доме часто собирались родственники из других семей квартала, и за ужином разговоры о буднях мастерской перемежались с обычными пересудами о ценах на рынке и свадьбах соседских детей — смерть оставалась ремеслом за порогом дома, а не темой семейных вечеров.

К старости Ипи передал основную работу сыновьям, оставив за собой роль советника и хранителя наиболее тонких тайн ремесла — рецептур благовонных смесей, точных пропор-

ций натра для разных типов тел, редких заупокойных формул, которые не всякий мастер знал наизусть. Руки его, десятилетиями работавшие с едкой натровой солью, к старости покрылись трещинами и язвами, не заживавшими до конца, — профессиональная болезнь, которую несли на себе почти все мастера его ремесла, расплачиваясь телесным недугом за искусство дарить чужим телам подобие вечной сохранности.

В последние годы жизни Ипи страдал не только от язв на руках, но и от затруднённого дыхания — болезни, которую современные исследования мумий бальзамировщиков и связанных с этим ремеслом жрецов связывают с долгими годами вдыхания едкой натровой пыли и дыма от курений в плохо проветриваемых мастерских. Он всё реже появлялся в «уабет» лично, передоверяя дневную работу сыновьям, но до последних месяцев не отказывался от роли советника в особенно сложных случаях, когда требовалась его многолетняя память на редкие рецептуры и верные пропорции.

Умер Ипи в возрасте около шестидесяти лет, и подготовку его собственного тела к погребению, по иронии, которую отмечали все соседи квартала, взяли на себя его же сыновья и ученики — применив к учителю тот самый обряд, которому он их обучил, с той же тщательностью и теми же священными формулами, которые сам Ипи произносил над телами тысяч фиванцев за свою долгую жизнь. Его похоронили неподалёку от квартала бальзамировщиков, в скромной гробнице, расписанной сценами из его собственного ремесла — редкий, но не единичный случай, когда человек, всю жизнь готовивший других к переходу в вечность, запечатлел на стенах собственной усыпальницы не образы охоты или пиршеств, любимые вельможами, а сцены своей истинной профессии: натровую соль, льняные пелены и благоговейные руки мастера, дарующего мёртвым вторую, бесконечную жизнь.

Ткачиха льняных полотен

Меритра родилась в деревне, расположенной среди полей льна и эммера на землях, принадлежавших храму местной богини-покровительницы нома, в семье арендатора храмовой земли. Отец обрабатывал надел, часть урожая с которого шла храму, часть — семье; мать, как и почти все женщины деревни, пряла и ткала дома для собственных нужд семьи, но дважды в год, в сезон, когда лён убирали и мочили в заводях реки, нанималась на временную работу в храмовую мастерскую, куда стекались женщины со всей округи.

Рождение девочки в семье земледельца не воспринималось в Египте как несчастье, в отличие от многих других древних культур: египетское общество ценило дочерей достаточно высоко, женщина обладала правом владеть имуществом, заключать сделки, обращаться в суд — и всё же участь дочери земледельца была предопределена заранее почти так же твёрдо, как участь сына: прясть, ткать, вести хозяйство, рожать детей. Меритра, третья дочь в семье, с первых лет жизни знала, что найдёт применение своим рукам именно в этом ремесле, которым владели женщины её рода на протяжении многих поколений.

Храм местной богини, которому принадлежала земля семьи Меритры, владел, подобно крупнейшим святилищам столицы, собственными угодьями, стадами и мастерскими, хотя и значительно более скромными по размаху, чем хозяйство прославленных фиванских или мемфисских храмов, — и жители окрестных деревень, включая семью Меритры, воспринимали эту зависимость от храмовой земли скорее как естественную часть миропорядка, чем как чуждую повинность, в котором местная богиня-покровительница заботилась о плодородии полей в обмен на труд и почтение своих подданных. Девочка росла среди полей и каналов, которые её отец и братья орошали и засевали льном — растением, которое в Египте возделывали не только ради масла из семян, но прежде всего ради волокна, из которого делали ткань для всей страны, от набедренных повязок простого земледельца до тончайших одеяний фараона и статуй богов. С самого раннего детства Меритра видела, как убирают лён — не срезают серпом, как зерно, а выдёргивают из земли с корнем, чтобы сохранить волокно максимальной длины, — и как затем стебли вяжут в снопы и замачивают в воде, где начинается процесс мочки, разрушающий внешнюю оболочку стебля и освобождающий драгоценные волокна внутри. Отец объяснял дочери то, что знал от собственного отца: лён для самой тонкой, драгоценной ткани выдёргивали нарочно недозрелым, зелёным, пока стебель оставался мягким и податливым, тогда как лён, оставленный дозревать до полной желтизны для получения масличных семян, давал волокно куда более грубое, пригодное разве что на мешковину да паруса, — тонкость выбора момента уборки была первой из многих хитростей ремесла, которые Меритра усваивала ещё до того, как сама взялась за веретено.

Рацион девочки был обычным для крестьянской семьи: хлеб, каша из ячменя, молоко, изредка рыба и овощи с огорода. Игрушками служили тряпичные куклы и глиняные фигурки, но уже лет с шести Меритру начали приучать к веретену — сперва играючи, подражая матери, затем всё более осмысленно, перебирая и расчёсывая волокна льна, высвобожденные после мочки и сушки, прежде чем те попадали в руки прях постарше.

К десяти-одиннадцати годам Меритра уже уверенно пряла нить на простом веретене с глиняным или каменным грузом-пряслицем, вращая его между пальцами и одновременно вытягивая волокна из кудели, закреплённой на поясе или в специальной корзине. Прядение было искусством, требовавшим не столько физической силы, сколько терпения и равномерности движений: нить должна была получаться одной толщины на всю длину, иначе готовая ткань выходила неровной и теряла в цене. Мастерство измерялось тониной нити — чем тоньше и ровнее пряжа, тем ценнее ткань, которую из неё потом соткут, а лучшие сорта египетского льна, известные как «царское полотно», были настолько тонки, что отдельные образцы, дошед-

шие до наших дней из гробниц знати, по плотности нити могут поспорить с лучшими тканями куда более поздних эпох.

В четырнадцать лет Меритру, как девушку, уже показавшую хорошие способности к рукоделию, определили в храмовую ткацкую мастерскую — не навсегда, а на сезонный найм, как делали многие женщины её деревни. Там её обучали работе на горизонтальном ткацком станке, закреплённом двумя шестами, вбитыми в землю, между которыми натягивалась основа — продольные нити будущей ткани; сидя или стоя на коленях прямо на земляном полу мастерской, ткачиха пропускала уточную нить поперёк основы при помощи деревянного челнока, прибивая каждый ряд гребнем для плотности. Опытные мастерицы мастерской — немолодые женщины, посвятившие ремеслу всю жизнь, — показывали новеньким, как менять плотность плетения для разных сортов ткани, как вплетать цветные нити, окрашенные в синий или красный цвет для более нарядных отрезов, предназначенных на одеяния жрецов и подношения богам.

Помимо горизонтального станка, закреплённого прямо на земле, — устройства, известного в Египте с глубокой древности, — в мастерской, куда определили Меритру, уже появлялся и более новый тип ткацкого станка, вертикальный, с двумя валиками, один из которых крепился высоко на деревянной раме, а нижний давал возможность ткачихе стоять во весь рост, а не сидеть скорчившись на полу часами напролёт. Такой станок, по преданию мастериц, пришёл в Египет с азиатских земель и постепенно вытеснял старый горизонтальный в городских мастерских, хотя в бедных деревенских домах, где женщины ткали для себя, а не на продажу, по-прежнему пользовались привычным способом работы на уровне земли. Меритра, освоив оба способа, отдавала предпочтение именно вертикальному станку — работать на нём было легче для спины, хотя первые недели с непривычки у неё ныли плечи и руки от непривычного положения при натягивании нити.

Отдельным искусством, которым овладевали не все ткачихи, было умение вплетать в полотно узор — создавать вместо простой однотонной гладкой ткани отрезы с тканым орнаментом, требуемые для храмовых облачений самого высокого разряда. Меритра училась этому у старой мастерицы по имени Хатнофрет, которая, по слухам, в молодости ткала полотно для одного из царских домов в столице и знала секреты узорного плетения, какими не владела ни одна другая женщина в мастерской; именно от неё Меритра переняла способ, которым вводят дополнительную уточную нить для создания повторяющегося геометрического рисунка — лотосов и цветочных розеток, — не нарушая при этом ровности основного полотна.

Высшим достижением египетского ткачества считалось полотно, которое позднейшие греческие и римские авторы назовут почти прозрачным, «сотканным из воздуха», — ткань настолько тонкую и лёгкую, что целое платье из неё можно было, по преданию, продеть через перстень, не порвав нити; подобные отрезы предназначались исключительно для одеяний фараона, высшей знати и самых драгоценных статуй богов, и лишь единицы мастериц во всём Египте владели умением прясть нить подобной тонкости. Меритра, достигнув среднего мастерства задолго до старости, так и не поднялась до этой высшей ступени ремесла, но относилась к работе мастериц, которым это удавалось, с благоговением, схожим с тем, какое испытывал к верховным жрецам простой деревенский богомолец.

К двадцати годам Меритра стала одной из постоянных мастериц храмовой мастерской — должность, которая давала ей собственный доход натурой: долю зерна и ткани сверх того, что полагалось от надела семьи, а со временем и определённую самостоятельность в быту, редкую для женщины её сословия. Храмовые ткацкие мастерские того времени представляли собой настоящие маленькие фабрики по меркам своей эпохи: десятки женщин работали бок о бок под началом надсмотрщицы, которая вела учёт выработки — сколько локтей ткани сдано каждой мастерицей за отчётный период, — и подавала отчёт храмовым писцам, которые в свою очередь записывали количество готового полотна, поступавшего на храмовые склады.

Будни ткачихи были монотонны, но не лишены своего ритма и даже радости: женщины работали группами, переговариваясь и напевая за работой, обменивались новостями о свадьбах и родах, о видах на урожай, о ценах на рынке. Готовая ткань использовалась по-разному в зависимости от сорта: грубое полотно шло на обиходную одежду, мешковину, паруса; тонкое — на одеяния жрецов, участвующих в храмовых ритуалах, на погребальные пелены, на подношения богам в виде отрезов ткани, которые клали к подножию статуй наравне с хлебом и пивом. Рацион взрослой ткачихи, если она работала при храме постоянно, становился разнообразнее, чем в родительском доме: храм выдавал работницам хлеб, пиво, рыбу и овощи как часть оплаты труда, а по праздникам — и мясо, которое доставалось не каждой крестьянской семье так часто.

Лён в Египте служил не только сырьём для одежды, но и фактически одной из форм денежного обращения в экономике, где монета появится лишь много веков спустя: отрезами ткани расплачивались за труд наравне с зерном, ткань хранили в храмовых и царских сокровищницах наравне с драгоценными металлами, а хорошее льняное полотно можно было обменять почти на любой другой товар на рынке. Именно поэтому труд ткачих ценился государством и храмами не меньше, чем труд земледельцев, выращивавших зерно: без полотна невозможно было ни одеть армию, ни снарядить флот парусами, ни обеспечить достойное погребение умерших, какого требовала религия. Надсмотрщица мастерской, под началом которой трудилась Меритра, лично отвечала перед храмовыми писцами за каждый локоть выработанной ткани, и хроническая недостача в отчётах грозила ей куда более суровым взысканием, чем рядовой ткачихе, — есть свидетельства, что надсмотрщиц, уличённых в сокрытии готовой продукции или присвоении части пряжи, наказывали так же сурово, как нечестных смотрителей зерновых амбаров.

Помимо работы на храм, готовую ткань сверх установленной нормы выработки женщины деревни, включая саму Меритру, нередко относили на небольшой деревенский рынок, где обмен велся без всякой монеты, которой Египет ещё не знал: отрез полотна определённой длины и качества имел устоявшуюся, всем известную меру стоимости в зерне, пиве или ином товаре, так что опытная хозяйка могла на глаз прикинуть, сколько мер ячменя или кувшинов масла стоит принесённый ею кусок ткани, и поторговаться с продавцом овощей или горшечником почти так же уверенно, как если бы в руках у неё было звонкое серебро. Меритра, выходя на такой рынок с остатками собственной пряжи или небольшим отрезом ткани, сотканным сверх храмовой нормы в свободные от основной работы часы, ощущала это редкое для женщины её положения чувство самостоятельного распоряжения плодами собственного труда, и именно эти, пусть и скромные по размеру, доходы от свободной торговли полотном она откладывала отдельно от общего семейного достатка, называя их, по шутливому выражению, перенятому от матери, «зерном на чёрный день и на свадьбу дочерей».

Испытанием, определившим дальнейшую судьбу Меритры, стал заказ, поступивший в мастерскую в год большого праздника в честь богини-покровительницы нома: верховная жрица потребовала изготовить к торжеству особый отрез ткани непревзойдённой тонкости — подношение для статуи богини, какого не делали в этом храме уже много лет, с нитью настолько тонкой и ровной, что лишь немногие мастерицы во всей округе владели нужным умением. Надсмотрщица мастерской, зная репутацию Меритры как одной из лучших прях, поручила именно ей спрясть основную часть нити для этого полотна — ответственность, которая легла на плечи молодой женщины тяжелее, чем любая прежде порученная работа.

Меритра пряла нить несколько недель, добиваясь ровности, которой прежде не достигала даже сама, отбраковывая целые мотки пряжи, показавшиеся ей недостаточно тонкими, несмотря на недовольство надсмотрщицы, торопившей её к сроку. За несколько дней до праздника, когда ткань была почти готова на станке, одна из молодых помощниц по неосторожности опрокинула на разложенную основу сосуд с маслом для благовоний, оставив жирное пятно на

дорогом полотне, — происшествие, грозившее сорвать подношение и опозорить всю мастерскую перед лицом верховной жрицы. Меритра, не поддавшись панике, вспомнила способ, которым старые мастерицы выводили пятна с тонкого льна — раствором натра и толчёного мела, — и всю ночь напролёт вместе с двумя товарками осторожно обрабатывала испачканный участок, пока пятно не исчезло без следа, не повредив тонкую структуру нити.

Ткань была готова в срок и поднесена богине на глазах у всего города во время торжественной процессии; верховная жрица, узнав о происшествии с пятном и о том, как мастерицы спасли подношение собственными силами в последнюю ночь, лично похвалила Меритру перед надсмотрщицей мастерской, и с этого дня молодой женщине стали поручать самые ответственные и почётные заказы храма, включая ткани для одеяний самой жрицы.

Слух об этой истории разошёлся по мастерской и за её пределами куда быстрее, чем сама Меритра ожидала: товарки по работе, прежде видевшие в ней всего лишь одну из многих способных прях, заговорили о ней как о мастерице, спасшей честь храма в последнюю ночь перед праздником, а деревенские женщины, нанимавшиеся в мастерскую лишь на сезон, с этого времени охотно просились работать рядом с ней, рассчитывая перенять её сноровку. Надсмотрщица, прежде торопившая Меритру и сомневавшаяся в её медлительности при прядении особо тонкой нити, стала, напротив, приводить её работу в пример другим мастерицам как образец того, что терпеливая тщательность в конце концов побеждает спешку. Для самой Меритры этот эпизод стал подтверждением правила, которое она после повторяла собственным дочерям: ремесло прощает медленную старательность куда охотнее, чем поспешную небрежность, и именно эта мысль, а не одна лишь благодарность жрицы, осталась с ней на всю оставшуюся жизнь.

Меритра вышла замуж около девятнадцати лет за ремесленника-столяра из соседней деревни, брак был устроен через родителей, но, по собственным позднейшим словам женщины, пересказанным внукам, сложился удачно и по-доброму. Муж не возражал против того, что жена продолжала работать в храмовой мастерской и после свадьбы — доход от её ремесла был для семьи попросту необходимым подспорьем, особенно в неурожайные годы, когда доход мужа-ремесленника и собственный надел семьи не покрывали всех нужд.

Меритра родила пятерых детей, из которых выжили четверо; дочерей с раннего возраста приучала к веретену и ткацкому станку так же, как когда-то приучала её собственная мать, и старшая дочь впоследствии тоже поступила на работу в ту же храмовую мастерскую, где когда-то начинала сама Меритра. Сыновей она, как и большинство матерей её сословия, готовила к ремеслу отца или к обычному крестьянскому труду на земле, хотя один из них, проявив способности к счёту, был отдан в ученики к деревенскому писцу и впоследствии нашёл место при храмовом хозяйстве — редкая для простой семьи, но не невозможная удача.

Старшая дочь Меритры, унаследовавшая от матери не только ремесло, но и терпеливость рук, со временем тоже добилась известности в той же мастерской, и односельчане, вспоминая мать и дочь вместе, нередко шутили, что в их семье ровность нити передаётся столь же верно, как цвет глаз или разрез лица, — замечание, которое сама Меритра принимала с тихой гордостью, считая это лучшим наследством, какое могла оставить детям простая крестьянская женщина без надела земли или серебра в сундуке. Дом Меритры и её мужа стоял на границе деревни и обрабатываемых полей, и собственный небольшой огород давал семье овощи и часть зерна в дополнение к доходам от ремесла и от надела. По вечерам, когда дневная работа в мастерской заканчивалась, Меритра не оставляла веретено и дома: пряла для собственных нужд семьи, для приданого подрастающих дочерей, для обмена с соседками на другие товары — горшки, корзины, овощи с чужих огородов. Муж, уважая мастерство жены, нередко сам чинил и подновлял её веретёна и ткацкие гребни из дерева, которые изнашивались от ежедневной работы, — малая, но характерная деталь семейного быта, в котором ремёсла мужа и жены поддерживали друг друга, а не существовали порознь.

С возрастом зрение Меритры, как у многих ткачих и прях, ослабло от десятилетий работы с тончайшей нитью при скудном свете мастерской, и руки, некогда поражавшие надсмотрщицу ровностью пряжи, начали дрожать и уставать быстрее прежнего. Она оставила постоянную работу в мастерской около пятидесяти лет, но продолжала прясть дома для нужд собственной семьи и в помощь дочери, передавая младшим внучкам секреты ремесла, которым отдала жизнь: как добиться ровности нити, как распознать качество волокна на ощупь, как вывести случайное пятно с драгоценного полотна.

Умерла Меритра в преклонном возрасте, дома, в окружении детей и внуков, которых успела застать уже подростками. Её похоронили по обычаю, доступному семье скромного достатка: тело обернули льняными пеленами — тем самым материалом, которому она посвятила жизнь, — и положили в могилу с немногими личными вещами: любимым веретеном, глиняным пряслицем и небольшим отрезом тонкой ткани, который она сама соткала себе на смертный час, как делали многие женщины её ремесла, заранее готовя себе достойный саван собственными руками.

Ученик школы писцов в Уре

Лу-Дингирра родился в городе Уре, на берегу судоходного канала, отведённого от Евфрата, в доме отца-чиновника, служившего при храмовом хозяйстве бога-покровителя города. Шумерское общество того времени делилось не столько на сословия в египетском смысле, сколько на горожан, связанных с храмом или дворцом, и свободных земледельцев, обрабатывавших собственные или арендованные наделы за городскими стенами, — и семья Лу-Дингирры принадлежала к первым, к узкой прослойке людей, чья грамотность и должность освобождали их от тяжёлого труда на земле.

Рождение мальчика в такой семье сопровождалось обращением к богине-покровительнице рождений и повитухе, которая в Шумере пользовалась не меньшим уважением, чем в Египте; имя новорождённому выбирали со смыслом — «Лу-Дингирра» означало «человек бога», имя, которое отец счёл добрым предзнаменованием для сына, которого с рождения прочил в писцы, продолжатели собственного дела. Дом стоял в одном из кварталов Ура неподалёку от храмового комплекса, сложенный из сырцового кирпича, с внутренним двориком, куда выходили комнаты всей большой семьи, включавшей, помимо родителей и детей, ещё и старую бабку, и неженатого дядю по отцовской линии.

Ур, родной город Лу-Дингирры, в те десятилетия переживал пору нового расцвета под властью объединившей южную Месопотамию династии, восстановившей разрушенные прежними войнами храмы и каналы, и дед мальчика, ещё заставший более смутные времена междоусобиц, нередко рассказывал внуку, с каким облегчением горожане встретили возвращение твёрдого порядка, при котором купеческие караваны вновь могли безопасно ходить по рекам, а урожай не разграбляли по дороге к городским амбарам враждующие ополчения соседних правителей. До семи лет Лу-Дингирра жил обычной жизнью городского ребёнка Шумера: бегал по узким улочкам Ура с другими детьми квартала, играл в кости и глиняные шарики, ел хлеб из ячменной муки, финики, рыбу из канала, похлёбку из чечевицы и лука — пищу, составлявшую основу рациона почти всех жителей Месопотамии независимо от достатка, хотя в богатых домах к этому прибавлялось больше мяса, пива и молочных продуктов, чем в бедных. Шумерские дети, как и египетские, рано приучались к труду по дому: девочек — к ткачеству и помощи по хозяйству, мальчиков из небогатых семей — к полевым работам или ремеслу отца, но для мальчика из писцовской семьи уготован был иной путь — путь школы табличек, эдуббы.

Дошедший до нас через тысячи лет шумерский текст, который современные исследователи клинописи назвали «Школьные дни», описывает путь такого мальчика почти пословно похожим на то, что пришлось пережить Лу-Дингирре: ранний подъём, долгая дорога в школу, страх опоздать, страх быть наказанным за любую мелкую провинность. Отец Лу-Дингирры, как и полагалось в семье со средствами, договорился с «старшим братом» школы — так называли помощника учителя, следившего за дисциплиной и подготовкой табличек, — о месте для сына, и в семь лет мальчика отвели в эдуббу при одном из городских храмов.

Эдубба в буквальном переводе означала «дом табличек», и жизнь внутри неё была устроена вокруг глиняной таблички и тростникового стиля — инструментов, которыми предстояло овладеть каждому ученику в совершенстве. День начинался на рассвете: мать заворачивала мальчику в узелок две лепёшки на обед, и он спешил в школу, зная, что опоздание карается немедленно — учитель или его помощник отмечали непунктуальность розгой по рукам или спине, что для Лу-Дингирры, как и для большинства учеников, стало первым и самым пугающим открытием школьной жизни.

Первые годы обучения сводились к копированию: ученик получал свежевылепленную табличку мягкой глины, на одной стороне которой учитель уже начертал образец — отдельные клинописные знаки, затем слоги, затем целые слова и списки понятий, сгруппированных

по темам: названия деревьев, металлов, животных, профессий, топонимов. Эти списки, которые современные шумерологи называют лексическими, составляли основу всей школьной программы на протяжении многих веков и почти не менялись от поколения к поколению; ученик должен был не просто срисовать знаки, но заучить их наизусть, уметь воспроизвести список по памяти без образца перед глазами.

Дисциплина в эдуббе была суровой до крайности, и тот же текст «Школьных дней» перечисляет едва ли не комическим тоном длинный список поводов для наказания: ученика били за то, что он встал со своего места без разрешения, за то, что его одежда оказалась неопрятной, за болтовню, за почерк хуже, чем у соседа, за то, что он попросту «не создал шумерскую табличку как следует». Лу-Дингирра, подобно безымянному герою этого текста, однажды не выдержал постоянных побоев и упросил отца пригласить учителя в гости — обычай, засвидетельствованный тем же источником: отец устраивал для наставника сытный обед, подносил ему новую одежду и перстень, и растроганный учитель, которого шумеры называли «отцом школы», осыпал мальчика похвалами перед всей семьей, обещая, что тот станет первым среди соучеников. Был ли этот обычай всеобщим правилом или скорее исключением для состоятельных семей — вопрос, на который сам текст, написанный, вероятно, именно для таких семей, не даёт однозначного ответа, но для Лу-Дингирры, чей отец располагал нужными средствами, этот путь оказался открыт.

Помимо лексических списков, ученики заучивали и так называемые таблицы умножения — заранее вычисленные результаты произведений чисел в шестидесятеричной системе, записанные на отдельных табличках для каждого числа от одного до нескольких десятков, которые ученик должен был знать наизусть так же твёрдо, как названия знаков письма, — приём, без которого ни один писец не справился бы со сложными хозяйственными расчётами взрослой службы, где счёт вёлся на тысячи мер зерна и сотни голов скота. Лу-Дингирра, как и все ученики эдуббы, часами переписывал эти таблицы, повторяя вслух каждую строку, пока учитель расхаживал между рядами, готовый окликнуть и наказать любого, кто собьётся со счёта или начнёт клевать носом от утомления.

К двенадцати-тринадцати годам ученик, прошедший начальную ступень, переходил к куда более сложной программе: математике в шестидесятеричной системе счисления, которой шумеры пользовались при измерении земли, зерна и времени — именно оттуда ведут происхождение современное деление часа на шестьдесят минут и круга на триста шестьдесят градусов; грамматическим спискам, где слова и обороты шумерского и аккадского языков — двух разных языков, которыми параллельно пользовались в Месопотамии того времени, — сопоставлялись в двуязычных табличках; заучиванию пословиц, гимнов богам и городам, а на самой высокой ступени — классических литературных произведений, таких как сказания о Гильгамеше и других героях шумерского эпоса.

Особое место в программе старших учеников занимали так называемые «эдуббские сочинения» — тексты, описывающие саму школьную жизнь, споры между учениками о том, чья профессия почётнее, диалоги учителя с нерадивым воспитанником. Лу-Дингирра заучивал наизусть спор между писцом и земледельцем, где каждый превозносил достоинства своего труда, и диалог, в котором старший ученик насмехался над младшим, хвастаясь собственными познаниями, — тексты эти, составленные, вероятно, самими же учителями эдуббы много поколений назад, должны были не только развивать память ученика, но и прививать ему гордость за избранное поприще, внушая мысль, что писец стоит выше всех прочих ремёсел города. К пятнадцати годам Лу-Дингирра уже помогал учителю проверять таблички младших учеников — должность, которую сами школяры называли, посмеиваясь, «старшим братом», та же, что некогда определяла его собственную судьбу новичка семь лет назад, и этот оборот — от проверяемого к проверяющему — был для юноши первым ощутимым подтверждением, что годы розг и зубрёжки не прошли даром.

Среди текстов, которые заучивали старшие ученики эдуббы, особое место занимало древнее поучение, приписываемое легендарному правителю города Шуруппака, обращённое отцом к сыну в форме наставлений о правильной жизни: не воровать, не прелюбодействовать, не доверять слишком быстро новому знакомому, беречь слово данное и избегать ссор с соседями по пустякам. Лу-Дингирра заучивал эти наставления наравне с хозяйственными формулами, и хотя сам текст казался ему порой суховатым перечислением очевидных истин, много лет спустя, уже взрослым человеком и отцом собственных детей, он не раз ловил себя на том, что повторяет сыновьям те же самые, тысячелетиями проверенные житейские правила почти слово в слово.

Закончив полный курс эдуббы около семнадцати-восемнадцати лет, Лу-Дингирра получил звание «дубсар» — писца, и, как многие выпускники школы табличек, начал службу при том же храмовом хозяйстве, где служил отец: вёл учёт зерна, скота, шерсти, фиников, поступавших в храмовые амбары и склады, составлял расписки о выдаче пайков работникам храмового хозяйства, фиксировал договоры займа и аренды земли между горожанами, которые по шумерскому обычаю нередко обращались к писцу для составления письменного контракта, скреплённого печатью.

Повседневная работа дубсара требовала не только грамотности, но и глубокого знания многочисленных формуляров: расписки, договоры купли-продажи, брачные контракты, судебные решения — каждый тип документа имел собственную устойчивую структуру, которую писец обязан был знать назубок, не заглядывая в образцы. Лу-Дингирра со временем специализировался на хозяйственной документации храма: учёте стад мелкого и крупного скота, записи шерсти, поступавшей от пастухов и уходившей в ткацкие мастерские, составлении годовых отчётов для управляющего храмовым хозяйством. Рацион взрослого писца был достаточен и разнообразен: ячменный хлеб и каша, пиво — основной напиток Месопотамии, которым шумеры утоляли жажду едва ли не чаще, чем водой, рыба из каналов и Евфрата, финики, лук, чеснок, изредка баранина и козлятина по праздникам, которые доставались писцу храма чаще, чем простому земледельцу.

Держава, объединившая южную Месопотамию в дни юности Лу-Дингирры, отличалась от прежних, более рыхлых царств поразительной степенью бюрократической организации: неподалёку от столицы существовал огромный государственный центр по приёму и перераспределению скота, куда отовсюду сгоняли животных, предназначенных в жертву богам, на пропитание царского двора или в качестве дани от покорённых областей, и каждое животное, поступавшее туда, фиксировалось писцами по виду, возрасту, упитанности и дальнейшему назначению с такой скрупулёзностью, что архивы одного только этого учреждения, как слышал Лу-Дингирра от старших коллег по архиву, насчитывали многие десятки тысяч табличек. Подобная централизованная отчётность, которую держава требовала от каждого храмового и царского хозяйства без исключения, и определяла собой главный смысл профессии писца в глазах самого Лу-Дингирры: не возвышенная учёность ради неё самой, а скромный, но насущно необходимый труд учёта, без которого огромная машина государственного перераспределения зерна, скота и труда попросту остановилась бы, оставив тысячи людей без положенного им пайка.

Особую гордость профессии придавало предание, которое учителя эдуббы пересказывали ученикам как лучшее доказательство достоинства писцовского ремесла: сын самого царя Ур-Намму, унаследовавший престол после отца и правивший Уром многие десятилетия, в собственных хвалебных гимнах, которые заучивали наизусть во всех школах державы, похвалялся не только воинскими победами и щедростью к храмам, но и тем, что в детстве сам прошёл полный курс эдуббы и овладел искусством письма не хуже любого профессионального писца, — редкое для царя признание, которое наставник Лу-Дингирры приводил ученикам в доказательство того, что даже венценосные особы считают ремесло писца достойным собственной

царственной чести. Лу-Дингирра, заучивая строки этого царского гимна наравне с прочими текстами школьной программы, не без детской гордости думал, что он, простой мальчик писцовской семьи, разделяет одно и то же умение с самим правителем объединённой державы, — мысль, которая в иные дни, особенно после особенно болезненного наказания розгой, служила ему единственным утешением за все тяготы ученичества.

Самым напряжённым эпизодом в карьере Лу-Дингирры стал год большой судебной тяжбы между двумя влиятельными горожанами Ура из-за спорного участка орошаемой земли на границе их владений — дело, которое дошло до храмового суда и потребовало участия писца, способного восстановить историю владения землёй по архивным табличкам за несколько поколений назад. Управляющий храмовым архивом поручил именно Лу-Дингирре, к тому времени уже опытному писцу среднего возраста, разобрать груды старых, частично повреждённых табличек в поисках документов о первоначальном разделе земли между предками тяжущихся сторон.

Работа растянулась на несколько недель: часть табличек от долгого хранения потрескалась и осыпалась, часть была написана более древним, архаичным почерком, трудным для чтения даже опытному глазу, а один из ключевых документов, подтверждавших права одной из сторон, оказался намеренно повреждён — кто-то из заинтересованных лиц, судя по всему, пытался уничтожить невыгодное для себя свидетельство, соскоблив часть текста ножом. Лу-Дингирра, применив знания, полученные ещё в школе при изучении архаичных списков знаков, по уцелевшим фрагментам и по логике формуляра сумел восстановить содержание повреждённого документа и представить храмовому судье убедительную реконструкцию исходного раздела земли, подкреплённую перекрёстными ссылками на другие таблички того же архива.

Разбирательство привлекло внимание всего города: обе тяжущиеся семьи принадлежали к числу состоятельных горожан Ура, и исход дела мог определить не только судьбу спорного участка земли, но и расстановку сил среди городской знати на годы вперёд. Городской суд, заседавший у городских ворот, как было принято в Шумере, собрал, помимо судей-старейшин, и просто любопытных горожан, и Лу-Дингирра, вызванный для дачи показаний по найденным документам, впервые в жизни ощутил на себе тяжесть всеобщего внимания — не привычную тишину архивных полок, а гул толпы, ожидающей его слова как решающего аргумента в затянувшемся споре.

Судья, вынося решение в пользу стороны, чьи права подтвердил именно восстановленный Лу-Дингиррой документ, отметил перед всем судебным собранием добросовестность и учёность писца, сумевшего «прочитать то, что враг его клиента хотел стереть». Слава об этом случае разошлась по кругу храмовых писцов Ура, и управляющий архивом с этого дня стал поручать Лу-Дингирре наиболее сложные и спорные дела, требовавшие работы с ветхими и повреждёнными документами, — особое доверие, которое через годы помогло ему занять должность хранителя всего храмового архива, редкую честь для писца не самого знатного происхождения.

Лу-Дингирра женился около двадцати лет на дочери другого храмового писца — брак был оформлен письменным договором, как и большинство шумерских браков того времени: документ, составленный, по иронии судьбы, коллегой-писцом из того же архива, перечислял приданое невесты, обязательства сторон и условия, при которых брак мог быть расторгнут, — шумерское право в вопросах брака и развода было весьма детально разработано и в значительной мере защищало интересы женщины, которая сохраняла право на своё приданое и на часть имущества даже в случае развода по инициативе мужа.

Жену звали Нин-шубур-амаму; она вела хозяйство дома, воспитывала детей и, как многие женщины писцовских семей Ура, сама обладала некоторой грамотностью — умением читать простые хозяйственные записи, хотя полноценное обучение в эдуббе в её время было уделом в основном мужчин, за редкими и ценимыми исключениями женщин-писцов при неко-

торых храмах, особенно при храмах богинь, где издревле служили жрицы, которым полагалось вести собственную документацию. Супруги вырастили троих детей, и старший сын, как и предполагала семейная традиция, в свой черёд поступил в ту же эдуббу, где некогда учился сам Лу-Дингирра, пройдя через те же лексические списки, те же побои за помарки и то же заучивание пословиц, которые его отец помнил наизусть до конца своих дней.

Младшая дочь Лу-Дингирры, к удивлению некоторых соседей, но не самого отца, тоже обучалась грамоте — не в общей эдуббе, а дома, у матери и у приходящего писца, которого отец специально нанимал для этой цели, считая, что дочь, выросшая в семье книжников, не должна оставаться вовсе неграмотной. Девушка не стала профессиональным писцом, но умела составить простое письмо и вести счёт домашним запасам, что сослужило ей добрую службу, когда она вышла замуж и взяла на себя хозяйство собственного дома: редкая в Шумере, но и не вовсе неслыханная практика домашнего обучения женщин из писцовских семей, о которой упоминают отдельные документы того времени, фиксирующие сделки, составленные и заверенные самими женщинами без посредничества мужа или отца.

К старости Лу-Дингирра, занимая почётную должность хранителя храмового архива, пользовался уважением не только коллег-писцов, но и городских властей, нередко обращавшихся к нему за консультацией по спорным вопросам землевладения и старинных долговых обязательств. Зрение его, как у многих писцов, проведших жизнь за чтением мелких клинописных знаков при тусклом свете масляных светильников, к старости заметно ослабло, и в последние годы службы ему требовалась помощь младших писцов, читавших вслух наиболее ветхие таблички, которые сам он уже с трудом различал.

Умер Лу-Дингирра в преклонном возрасте, оставив архив в надёжных руках ученика, которого сам подготовил к этой должности, и сына, продолжившего семейную традицию писцовской службы. Похоронили его, как было принято в Шумере, под полом собственного дома — обычай, по которому умерший член семьи не покидал домашний очаг окончательно, а оставался рядом с живыми, незримо участвуя в жизни дома, который он когда-то построил и в котором провёл свои лучшие годы, разбирая глиняные таблички, на которых держался весь порядок храмового хозяйства древнего Ура.

Жрица храма Иштар

Белили-Иннанна родилась в Уруке, городе, который шумеры называли домом богини Инанны — той самой, которую позже, в аккадский и вавилонский периоды, назовут Иштар, госпожой любви, плодородия и войны одновременно. Отец девочки был средней руки чиновником городского хозяйства, мать — дочерью храмового служителя; семья жила недалеко от величественного комплекса Эанна, «дома небес», главного святилища города, чьи ступенчатые башни и дворы были видны из любой точки Урука.

Рождение девочки в семье, связанной с храмом, с самого начала связывалось родителями с мыслью о возможной храмовой карьере: Урук с глубокой древности славился многочисленностью и разнообразием своего жречества, и место при храме великой богини считалось почётным уделом для дочери хорошей семьи — не единственным путём, но одним из самых завидных, какой только мог представиться девушке её происхождения. Повитуха, принимавшая роды, по обычаю города, произнесла благословение именем самой Инанны, и имя, данное девочке, — «Белили-Иннанна» — само по себе звучало как посвящение богине ещё до того, как ребёнок сделал первый вздох.

Урук, родной город Белили-Иннанны, издревле славился среди прочих месопотамских городов как один из древнейших и величайших центров цивилизации на земле, и местные предания связывали само возникновение царской власти и городской жизни с деяниями легендарных правителей прошлого, чьи полулегендарные подвиги пересказывались в эпических поэмах, заучиваемых наизусть не только жрецами, но и простыми горожанами на общественных праздниках. Девочка с раннего детства впитывала эту гордость родным городом как нечто само собой разумеющееся, зная, что живёт в месте, которое сами боги, по общему убеждению жителей, избрали одним из первых своих земных пристанищ. Детство Белили-Иннанны протекало в достатке, обычном для чиновничьей семьи среднего уровня: хлеб из ячменя и пшеницы, финиковое пиво, рыба из каналов, молоко и сыр, фрукты из садов, которые в Месопотамии разбивали вдоль ирригационных канав. Девочка росла в большом доме, где кроме родителей и братьев с сёстрами жили ещё несколько родственников, и с ранних лет видела храмовые процессии, в которых участвовали жрицы в ярких одеждах, с музыкальными инструментами, певшие гимны богине на улицах города во время больших праздников.

С шести-семи лет девочек в семьях её круга начинали учить домашнему рукоделию — прядению шерсти, которую Месопотамия производила в огромных количествах с многочисленных овечьих отар, ведению счёта припасов дома, простым молитвенным формулам, которые произносили перед домашними алтарями. Белили-Иннанна, в отличие от большинства сверстниц, уже в этом возрасте проявляла явный интерес именно к храмовым обрядам: подражала движениям жриц, виденным на праздниках, заучивала обрывки гимнов, которые слышала на улице, и мать, заметив эту склонность, не без гордости рассказывала о ней знакомым, предрекая дочери храмовое будущее.

Среди преданий о легендарных правителях прошлого, которые с детства слышала Белили-Иннанна, самым прославленным оставалось сказание о древнем царе Урука, полубоге, повелевшем некогда возвести вокруг города могучую стену из обожжённого кирпича столь высокую и прочную, что сами боги, по словам сказителей, дивились дерзости смертного правителя, вознамерившегося сравниться с ними мощью собственного творения, — стена эта, хотя и обветшавшая местами за века, к рождению Белили-Иннанны всё ещё опоясывала город, и девочка, проходя вдоль её подножия по дороге к храму, с детства гордилась тем, что живёт за той самой кладкой, о которой пели сказители на площадях в дни больших праздников. Тот же царь, согласно преданиям, после долгих странствий в поисках бессмертия в конце концов смирился с участью всех смертных и, по словам одного из стариков, нередко повторявшихся

за семейным столом отца, оставил потомкам не вечную жизнь, а именно эту стену и благоустроенный город как единственное доступное человеку подобие бессмертия — мысль, которая запала в память девочки задолго до того, как она сама начала задумываться о природе богослужения, которому собиралась посвятить жизнь.

В Эанне, как и в других крупных храмах Месопотамии, существовала целая иерархия женского жречества: от простых храмовых служительниц, выполнявших хозяйственные работы — прядение, выпечку хлеба для подношений, уборку храмовых дворов, — до высших степеней, таких как «эн» — верховная жрица, нередко происходившая из царской семьи, и «надиту» — затворницы, посвятившие себя богу и жившие в особом огороженном квартале при храме, не выходя замуж и управляя при этом собственным имуществом и деловыми делами с поразительной для своего времени самостоятельностью. Отец Белили-Иннанны, располагая нужными связями и скромным, но достаточным подношением храмовой казне, сумел определить десятилетнюю дочь в ученицы при храме в разряд, готовивший девушек к службе «лукур» — жриц среднего ранга, занятых музыкой, пением гимнов и участием в обрядах, не связанных с полным затворничеством надиту.

Обучение заключалось прежде всего в заучивании наизусть обширного корпуса гимнов и плачей на шумерском языке — языке священных текстов, который к тому времени уже выходил из повседневного разговорного употребления, уступая место аккадскому, но оставался языком храмовой учёности и литургии, подобно тому как много позже латынь сохранится в церковном обиходе Европы задолго после того, как перестанет быть разговорным языком. Белили-Иннанна училась играть на небольшой арфе и систре — храмовом ударном инструменте с металлическими пластинками, издававшем характерный звенящий звук во время процессий, — и под руководством старших жриц постигала хореографию ритуальных танцев, которые исполнялись на храмовых дворах в дни праздников богини.

Среди гимнов, которые Белили-Иннанна заучивала в годы ученичества, были и сочинения, приписываемые верховной жрице давно минувшей эпохи, дочери одного из первых великих завоевателей Месопотамии, — женщине, которую наставницы называли величайшей сочинительницей гимнов, какую знала история храмового культа, и чьё имя сохранилось в памяти жречества как имя первого известного по имени автора во всей истории человеческой письменности. Белили-Иннанна, слушая рассказы о судьбе этой давней предшественницы — изгнанной было из храма политическими противниками отца, но восстановленной в сане после страстной молитвы, сложенной ею самой в защиту собственного места при богине, — находила в этой истории не только образец литературного мастерства, но и живое ободрение: даже верховная жрица царского происхождения не была застрахована от превратностей храмовой политики, и если та сумела отстоять своё место силой одних только слов, то и скромной ученице вроде неё самой оставалось надеяться на силу собственного таланта.

Наставницей Белили-Иннанны в первые годы ученичества была старая жрица по имени Гешту-анна, посвятившая храму более полувека и помнившая наизусть такое количество гимнов и плачей, что молодые жрицы за глаза называли её «живым архивом» Эанны. Именно Гешту-анна первой разглядела в девочке не просто усердие, но подлинную музыкальную одарённость, и начала обучать её сложным многоголосым композициям, исполнявшимся лишь на самых торжественных праздниках, — честь, которой удостаивались немногие ученицы столь юного возраста. Под её же руководством Белили-Иннанна училась искусству, которое сами жрицы называли «плачем по богу» — особому стилю скорбного пения, исполнявшегося в дни ритуального оплакивания умирающей и возрождающейся природы, воплощённой в образе бога Думузи, супруга Инанны, чья смерть и воскресение символизировали годовой цикл земледелия.

Отдельной и самой сложной частью подготовки было изучение календаря храмовых обрядов — множества ежедневных, ежемесячных и ежегодных церемоний, каждая из которых тре-

бовала точного знания последовательности действий, подношений и песнопений. Ошибка в обряде, по убеждению жрецов Месопотамии, могла прогневить богиню и навлечь беду не только на храм, но и на весь город, и потому старшие наставницы требовали от учениц безукоризненной точности в исполнении — требование не менее суровое, чем то, с каким относились к ученикам эдуббы наставники школы табличек.

Среди древних сказаний, которые Белили-Иннанна заучивала наизусть как часть обязательного храмового канона, особое, почти пугающее место занимал миф о нисхождении самой богини Инанны в подземное царство мёртвых, которым правила её старшая сестра: богиня, одержимая желанием распространить свою власть и на мир усопших, спустилась через семь врат преисподней, у каждых из которых стражи снимали с неё по одному предмету одежды и украшений, пока она не предстала перед сестрой нагой и беззащитной и не была обращена волей подземных судей в бездыханный труп, подвешенный на крюке, — и лишь хитрость верных слуг богини, а затем и жертва её собственного супруга Думузи, согласившегося провести часть года в преисподней вместо неё, вернули Инанну к жизни и свету. Белили-Иннанна, исполняя плачи, связанные с этим мифом в дни ежегодного траура по нисходящему в подземный мир Думузи, каждый раз заново переживала этот рассказ как объяснение самой природы вещей — неизбежного чередования жизни и смерти, плодородия и запустения, — и находила в нём куда больше утешения, чем в сухих перечнях обрядовых предписаний, которые также входили в её повседневные обязанности.

К восемнадцати годам Белили-Иннанна была полностью посвящена в сан жрицы-лукур и заняла постоянное место в штате храма Эанна, насчитывавшем, по отдельным хозяйственным документам того времени, многие сотни служителей обоего пола разных рангов — от высших жриц и жрецов-плакальщиков до простых работников храмового хозяйства, пастухов, пастухов, ткачих и земледельцев, обрабатывавших обширные храмовые земли. Будни жрицы её ранга состояли из участия в ежедневных ритуалах кормления и одевания статуи богини, пения утренних и вечерних гимнов, музыкального сопровождения жертвоприношений, а также — в дни больших праздников — участия в процессиях, выносивших изображение богини за пределы храма к берегу реки или к другим святилищам города.

Помимо жриц, обслуживавших непосредственно культ богини, храм содержал и особый разряд жрецов-плакальщиков мужского пола, исполнявших заупокойные и покаянные песнопения на древнем шумерском диалекте, отличном от разговорного языка самой Белили-Иннанны, — голоса их, по обычаю, звучали на особенно высоких, почти женских тонах, и музыкальное сотрудничество между этими жрецами и жрицами её собственного ранга было для Белили-Иннанны одной из самых увлекательных сторон храмовой службы, позволявшей ей разучивать сложные многоголосые композиции, недоступные для исполнения в одиночку. Помимо собственно культовых обязанностей, храм Эанна представлял собой крупнейшее хозяйственное предприятие города: ему принадлежали обширные земли, стада овец и коз, ткацкие мастерские, где трудились сотни женщин, производя шерстяные ткани на продажу и обмен с другими городами и землями. Белили-Иннанна, помимо музыкальной и обрядовой службы, со временем получила обязанности, связанные с надзором за частью храмовых мастерских — должность, которая требовала не только благочестия, но и практической хватки, умения вести счёт и улаживать споры между работницами. Рацион жрицы её положения был обилен: лучшие сорта хлеба, мясо с храмовых жертвоприношений, часть которого после обряда поступала самим служителям, финики, пиво нескольких сортов, фрукты и овощи с храмовых садов.

Жрицы разных рангов жили в храмовом комплексе по-разному: затворницы-надиту соседних городов обитали в огороженных кварталах, куда посторонним вход был закрыт, тогда как жрицы ранга лукур, подобные Белили-Иннанне, нередко сохраняли собственное жильё в городе и приходили в храм к началу службы, как приходили на работу писцы или ремеслен-

ники. День жрицы делился на несколько молитвенных и обрядовых периодов, привязанных к восходу, полудню и закату солнца, и между этими службами оставалось время для хозяйственных дел, обучения младших учениц и — для тех, кто обладал таким даром, как Белили-Иннанна, — для сочинения новых гимнов, дополнявших древний канонический репертуар храма. Один из таких гимнов, сложенный ею в честь богини по случаю удачного урожая, был одобрен старшими жрицами для включения в постоянный храмовый репертуар — редкая честь для жрицы её ранга, обычно довольствовавшейся исполнением чужих, освящённых веками текстов.

Пиком жреческой карьеры Белили-Иннанны и самым памятным эпизодом её жизни стало участие в обряде священного брака — ритуале, засвидетельствованном в шумерской литературе как соединение верховной жрицы, воплощавшей богиню Инанну, с царём города, принимавшим на себя роль её супруга, пастуха-бога Думузи. Обряд этот, призванный обеспечить плодородие земли и благополучие города на предстоящий год, обычно исполняла верховная жрица «эн» высшего ранга, но в тот год, когда прежняя эн внезапно занемогла незадолго до праздника Нового года — акиту, торжество, в ходе которого обряд традиционно совершался, — храмовый совет оказался перед необходимостью спешно найти достойную замену среди жриц следующего по старшинству ранга.

Белили-Иннанна, к тому времени известная не только музыкальным даром, но и безупречным знанием всего ритуального канона, была избрана советом старших жриц для исполнения этой роли — честь, выпадающая раз в жизни даже не всякой верховной жрице, не говоря уже о жрице среднего ранга. Подготовка заняла считаные дни: нужно было заучить особые гимны священного брака, исполнявшиеся только в этом обряде, облачиться в одеяния и украшения, которые хранились в храмовой сокровищнице специально для этой церемонии, и пройти дополнительные очистительные обряды, которые старшие жрицы совершали над ней днём и ночью перед праздником.

Сам обряд прошёл на глазах у собравшихся во дворе Эанны горожан и самого царя во время кульминации новогодних торжеств: процессия с музыкой и пением сопроводила жрицу к брачному покою, устроенному на вершине храмовой террасы, под пение гимнов, прославлявших соединение богини и бога-пастуха как залог урожая, приплода скота и благополучия всего города на предстоящий год. Для Белили-Иннанны этот день остался самым значительным во всей её долгой храмовой службе — не только из-за оказанной чести, но и потому, что с этого момента к ней стали относиться в храмовой иерархии совершенно иначе, советуясь с ней по вопросам ритуала наравне со жрицами куда более высокого формального ранга.

Судьба жриц Месопотамии в вопросах брака и семьи сильно разнилась в зависимости от конкретного ранга и храма: надиту, затворницы при храме бога солнца Шамаша, хорошо известные современным историкам по архивам города Сиппара, обычно не выходили замуж и не рожали детей, но могли вести самостоятельную хозяйственную жизнь, владеть землёй и даже усыновлять наследников для передачи имущества; жрицы же ранга лукур, к которому принадлежала Белили-Иннанна, напротив, нередко вступали в брак, не оставляя при этом храмовой службы. Белили-Иннанна вышла замуж около двадцати пяти лет, уже после памятного участия в обряде священного брака, за торговца среднего достатка, ведшего дела с соседними городами по реке, — брак, который её собственный высокий статус в храмовой иерархии сделал для семьи мужа почётным приобретением, а не просто житейской удачей.

Супруги жили отдельным домом неподалёку от храма, и Белили-Иннанна продолжала храмовую службу параллельно с ведением собственного хозяйства — обычная практика для замужних жриц её ранга, которые не считались обязанными выбирать между богиней и домом. Муж, занятый торговыми поездками по Евфрату, подолгу отсутствовал, и в эти месяцы именно Белили-Иннанна управляла домом и состоянием семьи, что для женщины её времени было делом вполне обычным: шумерское и вавилонское право признавало за замужней женщиной

широкие права на имущество, и жрица, привыкшая вести счета храмовых мастерских, справлялась с домашним хозяйством без особых затруднений.

Детей у пары родилось трое, и дочь, как и мать, была со временем определена в храмовое ученичество, хотя ни разу в жизни не удостоилась чести, выпавшей матери в год болезни верховной жрицы, — обстоятельство, которое, впрочем, ничуть не умаляло её собственной, более скромной, но достойной службы богине. Сыновья пошли по стопам отца, со временем присоединившись к его торговым делам, и Белили-Иннанна, глядя на взрослеющих детей, нередко говорила им, по свидетельству передаваемых внуками семейных рассказов, что служение богине и служение торговому делу человека роднит одно и то же качество — верность раз избранному пути, сколь бы труден он ни был.

К старости Белили-Иннанна оставила активное участие в музыкальной и обрядовой стороне службы, передав эти обязанности более молодым жрицам, но сохранила почётное место советницы при храмовом совете, к мнению которой по вопросам ритуала прислушивались даже верховные жрицы следующего поколения, не заставших её памятного участия в обряде священного брака много десятилетий назад. Голос её, некогда славившийся чистотой при исполнении гимнов, с годами ослаб, но знание ритуального канона оставалось непревзойдённым среди служительниц храма.

Умерла Белили-Иннанна в преклонные годы, окружённая детьми и внуками, и храм, которому она отдала всю жизнь, обеспечил ей погребение с подобающими почестями: тело было омыто и умащено благовониями по обряду, принятому для заслуженных жриц, а в могилу, устроенную, по шумерскому обычаю, под полом семейного дома, положили её любимую арфу и систр — те самые инструменты, под звон которых она когда-то, в самый памятный день своей жизни, пела гимны богине Инанне на вершине храмовой террасы Эанны.

Строитель зиккурата

Шамаш-нацир родился в деревне земледельцев на храмовых землях Ура, в те годы, когда город, объединивший под властью своего царя земли Шумера и Аккада, начал величайшую стройку своего времени — ступенчатую храмовую башню в честь бога луны Нанны, покровителя города. Отец его, как и отец строителя пирамиды в далёком Египте, обрабатывал надел, принадлежавший храмовому хозяйству, и часть года, свободную от полевых работ, обязан был отдавать на государственные нужды — обычай, который в Месопотамии был устроен почти так же, как и в долине Нила, хотя земля здесь родила не от разлива реки, а от труда ирригационных каналов, которые сами земледельцы и поддерживали в порядке круглый год.

Рождение мальчика в такой семье не сопровождалось особыми надеждами на иную судьбу: с первых лет жизни было ясно, что Шамаш-нацир продолжит дело отца — земледелие пополам с трудовой повинностью, когда царь или храм призовут его на стройку. Имя его означало «бог солнца хранит» — обычное благочестивое пожелание, с каким в Месопотамии нарекали детей, уповая на покровительство богов в жизни, полной тяжёлого труда и непредсказуемых бедствий.

Деревня, где рос Шамаш-нацир, как и большинство поселений Нижней Месопотамии, целиком зависела от разветвлённой сети ирригационных каналов, отведённых от Евфрата, — без постоянной расчистки этих каналов от ила и тростника поля быстро засолялись и теряли плодородие, и забота о состоянии оросительной системы была для местных земледельцев делом не менее важным, чем сама пахота, а порой и более насущным, поскольку один засорившийся на полпути канал мог оставить без воды сразу несколько соседних хозяйств. Детство Шамаш-нацира прошло в деревне неподалёку от городских стен Ура, среди финиковых пальм и ирригационных канав, которые требовали постоянной расчистки от ила. Рацион семьи состоял из ячменного хлеба и каши, рыбы из каналов, фиников, лука, чеснока и чечевицы — основы месопотамской кухни, которую дополняло изредка мясо, когда забивали старую овцу или козу. С шести-семи лет мальчик, как и все деревенские дети, помогал отцу на поле: расчищал оросительные канавы, отгонял птиц от посевов, пас немногочисленный скот семьи.

Школы для детей земледельцев не существовало — грамота оставалась уделом одних лишь писцов, редко доступным простым крестьянам, — и единственным образованием Шамаш-нацира стало поле отца и рассказы деревенских стариков о прежних стройках, в которых им доводилось участвовать: о прежних, меньших святилищах, которые возводили ещё при дедах нынешнего поколения. К двенадцати годам мальчик уже владел мотыгой не хуже взрослого и знал устройство оросительной системы родного нома не хуже, чем отец, но настоящим испытанием взрослой жизни, как и для сверстников по всей округе, стал день, когда его имя назвали в списке мужчин, призванных на царскую стройку.

Строительство зиккурата — огромной ступенчатой башни, которую царь Ур-Намму, объединитель Шумера и Аккада, возводил в честь бога Нанны на вершине храмового холма Ура, — требовало труда, какого не видела страна со времён давних построек прошлых династий. По всей стране, подвластной царю, рассылались распоряжения о трудовой повинности, схожей по сути с той, что знал Египет: земледельцы в свободные от посева и жатвы месяцы призывались партиями на царские и храмовые работы, получая взамен паёк из государственных житниц. Шамаш-нацир был призван в шестнадцать лет, вместе с другими мужчинами деревни, и провёл на стройке первый из многих последующих сезонов службы.

Прибыв на место, он увидел зрелище, которое запомнил на всю жизнь: основание будущей башни, уже заложенное в несколько слоёв сырцового кирпича, раскинулось на огромной площади, а вокруг него кипела работа сотен, если не тысяч людей — одни месили глину и формовали кирпичи в деревянных рамах-формах, другие обжигали часть кирпичей в печах

для облицовки, третьи таскали готовые кирпичи к месту кладки, четвёртые смешивали битум — природную смолу, которую в изобилии добывали из выходов нефти на поверхность земли в окрестностях Месопотамии, — с тростниковой прокладкой для связующего раствора между слоями кладки.

Старший бригады, к которой приписали Шамаш-нацира, первым делом поставил новичка месить глину — работу, не требующую особого умения, но изматывающую физически: ногами и руками нужно было смешивать глину, воду и рубленую солому в вязкую, однородную массу нужной консистенции, из которой затем формовали кирпичи в прямоугольных деревянных рамах, выравнивая поверхность плоской дощечкой и оставляя сохнуть на солнце несколько дней, прежде чем кирпич становился достаточно прочным для укладки в стену. Большая часть кладки зиккурата состояла из такого необожжённого, высушенного на солнце кирпича — материала дешёвого и доступного в количествах, каких требовала стройка подобного масштаба, но наружную облицовку, защищавшую сердцевину башни от разрушительного действия дождей, выполняли из кирпича обожжённого, куда более прочного и долговечного, скреплённого битумной смолой вместо обычного глиняного раствора.

Строители зиккурата столкнулись с задачей, о которой Шамаш-нацир поначалу и не задумывался, пока сам не увидел её решение воочию: огромный массив сырцового кирпича, пропитываясь влагой после редких, но сильных дождей, грозил медленно разбухать и трескаться изнутри, если не дать скопившейся воде выхода, — и потому мастера-строители через равные промежутки оставляли в толще кладки сквозные дренажные отверстия, выложенные обожжённым кирпичом, по которым просочившаяся влага уходила наружу, не скапливаясь внутри террас. Шамаш-нацир, которому однажды поручили прочистить один из таких уже существующих водостоков в нижнем ярусе, засорившийся за долгие годы, с удивлением обнаружил, насколько продуманным было это устройство, скрытое от глаз случайного зрителя, но без которого башня, по словам старших мастеров, неминуемо рассыпалась бы изнутри за какую-нибудь сотню лет.

Освоив формовку кирпича за первые недели, Шамаш-нацир перешёл к более сложной работе — переноске и укладке кирпичей на возводимых ярусах башни. Зиккурат строился несколькими сужающимися кверху ступенчатыми террасами, и по мере роста кладки рабочим приходилось поднимать материал по пологим наклонным пандусам и временным деревянным лесам на всё большую высоту — труд, требовавший не только силы, но и выносливости в месопотамскую жару, когда глиняная пыль и палящее солнце выматывали людей к середине дня куда сильнее, чем сама тяжесть переносимых кирпичей. Между слоями кладки, как заметил Шамаш-нацир, мастера-строители укладывали прослойки из тростниковых циновок и верёвок, пропущенных через всю толщу стены, — приём, укреплявший сырцовую кладку изнутри и позволявший башне выдерживать собственный огромный вес на протяжении многих поколений без видимого оседания.

Сам царь Ур-Намму, затеявший строительство этой башни, прославился в памяти Шамаш-нацира и его односельчан не только возведением храма, но и другим великим деянием, о котором рассказывали деревенские старики: ещё до начала строительства зиккурата царь повелел высечь на стелах свод справедливых законов для всех подвластных ему городов, устанавливая единые правила для разрешения споров о земле, долгах и причинённом ущербе, — свод, которым пользовались местные судьи ещё долгие десятилетия после смерти самого царя. Шамаш-нацир, человек неграмотный и далёкий от тонкостей судебного дела, тем не менее гордился, пусть и смутно, что служит тому же царю, чьё имя связано не только с горой обожжённой глины, поднимающейся у него на глазах, но и с порядком, который этот царь установил для простых людей вроде него самого.

Название, которое жрецы дали возводимой башне, означало нечто вроде «дом, связующий небо и землю», — и Шамаш-нацир, хотя и не разбирался в тонкостях храмового богосло-

вия, слышал от грамотных надсмотрщиков, что святилище на вершине башни станет обиталищем самого бога Нанны, а его земной служительницей — верховная жрица-энтум, избираемая обычно из царской семьи и почитаемая как земная супруга лунного бога в особом ритуале священного брака, который город отныне будет справлять ежегодно на вершине сооружения. Простому кирпичнику, разумеется, никогда не было суждено подняться к самому святилищу и своими глазами увидеть эти обряды, доступные лишь жрецам высшего ранга и царской семье, но мысль о том, что его руки кладут кирпич за кирпичом в основание дома, где обитает сам бог, покровительствующий ночному небу и судьбам города, придавала монотонному труду смысл, какого не имела бы обычная крестьянская повинность по рытью канала или починке дамбы. К тридцати годам Шамаш-нацир, пройдя через несколько сезонов трудовой повинности на той же стройке, растянувшейся на многие годы, стал одним из опытных мастеров-кирпичников, которых старшие бригадиры ставили на самые ответственные участки кладки — углы террас, места примыкания лестниц, зоны, где облицовка должна была держаться особенно прочно. В перерывах между турами повинности он, как и в юности, возвращался к земледелию на отцовском, а позже собственном наделе, но каждое новое лето, когда приходил черёд его деревни отправлять людей на стройку, он снова шёл к зиккурату, уже не новичком, а уважаемым мастером, которого младшие рабочие расспрашивали о тонкостях ремесла.

Рацион рабочего на стройке, как показывают сохранившиеся хозяйственные таблички храмовых и царских складов того времени, включал ежедневную выдачу ячменя, из которого пекли хлеб или варили кашу, регулярную порцию пива — основного напитка Месопотамии, утолявшего и жажду, и голод благодаря калорийности ячменного сусла, — а также периодическую выдачу рыбы, лука, фиников и шерстяной одежды раз в сезон. Условия эти были достаточны, чтобы не заставить рабочих голодать, но тяжесть самого труда — многочасовая переноска кирпичей по крутым пандусам под палящим солнцем — брала своё: к старости у многих мастеров-строителей, как и у египетских коллег, находили сросшиеся переломы, деформации суставов, грыжи от многолетней переноски тяжестей.

Учёт труда и пайков на стройке вели писцы, подобные тем, что выходили из эдуббы, — они ежедневно отмечали на глиняных табличках, сколько работников вышло на каждый участок, сколько кирпича произведено и уложено, сколько зерна и пива выдано бригадам. Шамаш-нацир, как и большинство рядовых рабочих, грамоты не знал и воспринимал этих писцов с настороженным уважением: именно от их записей зависело, получит ли бригада положенный паёк вовремя и полностью, и случаи, когда нерадивый или нечестный смотритель занижал в табличке число отработанных дней, вызывали среди рабочих глухой ропот, хотя жаловаться выше смотрителя простому кирпичнику было почти невозможно. Старший бригадир, под началом которого Шамаш-нацир провёл не один сезон, слыл человеком справедливым и лично следил, чтобы писец на его участке вёл счёт верно, — за это бригаду уважали и держались за место в ней, передавая по наследству от отца к сыну право возвращаться именно под начало этого бригадира при каждом новом призыве на повинность.

Самым опасным эпизодом в жизни Шамаш-нацира стал день, когда бригаду послали на верхнюю террасу зиккурата — к тому времени башня поднялась уже на несколько ступеней, и верхний ярус, где заканчивали кладку святилища, венчавшего всё сооружение, располагался на высоте, от которой у непривычного человека кружилась голова. Леса, сооружённые из связанных тростниковых жердей, под тяжестью рабочих и материала начали угрожающе потрескивать в тот момент, когда Шамаш-нацир с двумя товарищами поднимал на верхний ярус носилки с особенно крупной партией обожжённого облицовочного кирпича.

Один из опорных столбов лесов, подгнивший от многодневных дождей, внезапно подломился, и настил под ногами рабочих резко накренился. Товарищ Шамаш-нацира, шедший первым, потерял равновесие и соскользнул бы вниз с большой высоты, если бы сам Шамаш-нацир, оказавшийся ближе к устойчивой части настила, не успел ухватить его за запястье и

удержать достаточно долго, чтобы остальные рабочие, услышавшие крики, подоспели с верёвками и помогли вытащить обоих на безопасный участок лесов. Происшествие разобрал старший смотритель работ, отметивший перед всей бригадой хладнокровие и силу Шамаш-нацира, и с этого дня опытного кирпичника стали ставить старшим над небольшими группами новичков на самых опасных, верхних участках кладки — должность, приносившая не только уважение товарищей, но и более щедрый паёк, полагавшийся бригадирам среднего звена.

Весть о гибели самого царя Ур-Намму, павшего в сражении с враждебным соседним царством в разгар очередной военной кампании, достигла деревни Шамаш-нацира, когда зиккурат ещё далеко не был завершён, и потрясла местных жителей сильнее, чем иная смерть обычного правителя: сказители, приходившие в деревню на похоронные поминки, распевали скорбный плач, сложенный, по слухам, при дворе наследника, в котором оплакивалась горькая, недостойная великого царя участь — быть брошенным на поле боя богами, которым он служил всю жизнь, и не удостоиться даже надлежащего погребения на родной земле в первые дни после гибели. Шамаш-нацир, слушая этот плач у деревенского очага, впервые в жизни задумался о том, что даже царь, чьим именем назовут башню, которую он сам возводит своими руками, остаётся не властен над собственной смертью и над милостью богов, — мысль, которая, по его позднейшим признаниям, не поколебала его веры, но заставила относиться к собственному скромному труду кирпичника с ещё большим смирением перед невидимыми силами, управляющими судьбами и царей, и простых людей.

Шамаш-нацир женился около двадцати лет, в перерыве между турами трудовой повинности, на девушке из соседней деревни, как было заведено среди земледельцев его круга. Жену звали Нин-эгаль; она рожала детей в перерывах между его отлучками на стройку, и из шестерых рождённых детей до взрослых лет дожили четверо — обычное для того времени соотношение, учитывающее высокую детскую смертность, с которой не могла совладать медицина древней Месопотамии ничуть не лучше, чем медицина современного ей Египта.

Старший сын Шамаш-нацира, возмужав, тоже был призван на ту же стройку, продолжавшуюся, с перерывами, не одно десятилетие — зиккурат такого масштаба возводился не за один год и даже не за одно царствование, и сын застал уже завершающие этапы работ, которые отец помнил начинавшимися с голого основания на храмовом холме. Семья Шамаш-нацира, как и большинство крестьянских семей Месопотамии, жила скромно, но не бедствовала: надел земли, доход от сезонных работ и помощь взрослых детей обеспечивали достаточный, пусть и не изобильный, достаток дома.

Сама башня, в основание которой Шамаш-нацир вложил годы юности, пережила не только его собственную смерть и упадок родного Ура, но и многие последующие тысячелетия почти полного забвения, в течение которых занесённые песком развалины уже никто не помнил как творение рук человеческих, принимая их скорее за причудливую игру самой природы пустыни. Лишь в далёком будущем, когда на эти земли придут совсем иные народы и учёные с чужого, незнакомого Шамаш-нациру континента примутся раскапывать занесённый песками холм, миру откроется истинный масштаб некогда поднятого им сооружения — три ступенчатые террасы, облицованные обожжённым кирпичом, с остатками тех самых дренажных отверстий и тростниковых прослоек, которые сам Шамаш-нацир укладывал собственными руками, — и исследователи, по кирпичным клеймам и хозяйственным табличкам, восстановят не только облик зиккурата, но и самый порядок труда, которым он был возведён, хотя имя простого кирпичника нижних ярусов, разумеется, останется для них навсегда неизвестным, растворившимся в безымянной массе строителей древнего Ура.

К старости тело Шамаш-нацира, как и у большинства людей его ремесла, несло на себе отметины десятилетий тяжёлого физического труда: сросшийся перелом ключицы, полученный в молодости на лесах, ноющие колени и поясницу, которые особенно давали о себе знать в сырую зимнюю погоду. Он оставил работу на стройке задолго до завершения всего сооружения,

передав дело сыну, но дожил до того дня, когда зиккурат был наконец освящён и жрецы Нанны впервые поднялись по всем трём ступеням террас к святилищу на вершине башни — событие, которое весь Ур праздновал несколько дней подряд, и старый кирпичник, стоя в толпе горожан у подножия сооружения, которому отдал большую часть жизни, не скрывал слёз гордости.

Внуки Шамаш-нацира, слушая его рассказы о строительстве в старости, особенно любили историю о том, как башня выглядела снаружи в солнечный день: нижние ярусы, по обычаю месопотамских зодчих, красили в чёрный цвет битумной смолой, средние оставляли в природном красноватом тоне обожжённого кирпича, а верхнее святилище покрывали глазурованными синими изразцами и обшивали листовым золотом, так что издалека башня казалась устремлённой ввысь лестницей цветов, ведущей от тёмной земли к сияющему небу, — зрелище, которое сам Шамаш-нацир, обычный кирпичник нижних ярусов, видел по-настоящему только издали, с реки, но описывал внукам так подробно, будто поднимался на самую вершину лично.

Умер Шамаш-нацир в преклонном возрасте в собственном доме, и его похоронили, как было принято в Месопотамии, под полом семейного жилища, вместе с немногими личными вещами — глиняной лампой, любимым ножом для резки тростника, обломком обожжённого облицовочного кирпича, который он когда-то взял со стройки на память и хранил всю жизнь как свидетельство собственного участия в деле, пережившем не только его самого, но и, как показало время, не одно последующее тысячелетие: зиккурат Ура простоит на храмовом холме города ещё долгие века после того, как сам город придёт в упадок, а его создатели будут забыты по именам, оставшись лишь безымянным множеством рук, поднявших к небу гору обожжённой глины во славу лунного бога.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.